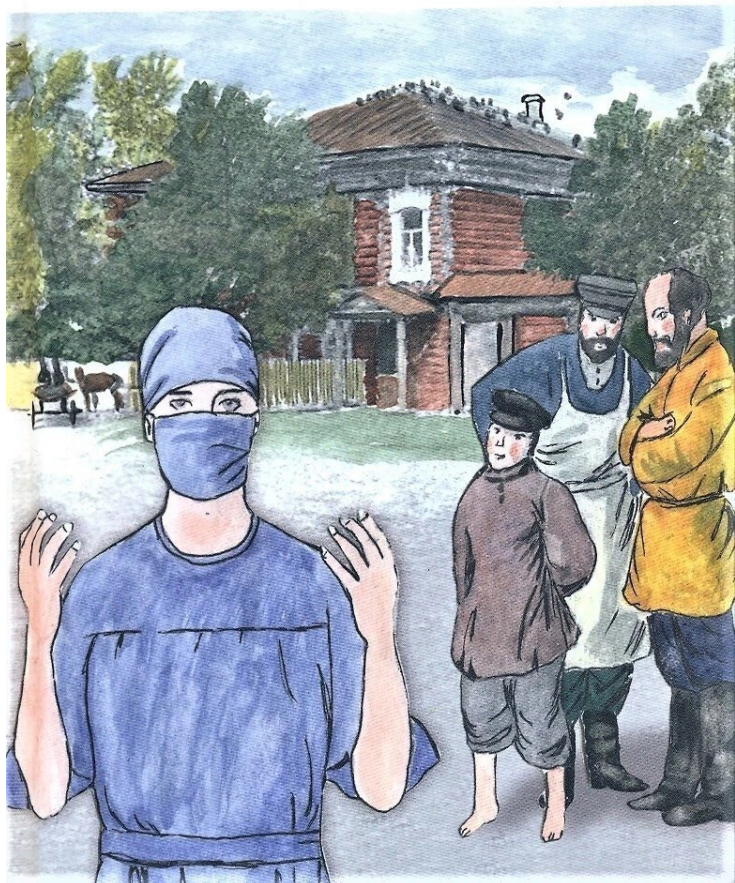


М. А. Булгаков

# ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА

*Ранняя проза*



**Михаил Афанасьевич Булгаков**  
**Записки юного**  
**врача. Ранняя проза**  
**Серия «Классики и современники»**

*Издательский текст*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=57487213](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57487213)*

*Записки юного врача. Ранняя проза: Издательство «Художественная литература»; М.; 2020  
ISBN 978-5-280-03872-1*

**Аннотация**

В настоящее издание выдающегося русского советского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940) вошли цикл рассказов «Записки юного врача», рассказ «Морфий», повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце». В своих произведениях Булгаков мастерски, с иронией, язвительно и колко высмеивает человеческие пороки: высокомерие, тупость, карьеризм, неискренность и ложь. Автору книги присущ еще и редкий лирический дар, который делает его прозу неповторимой.  
*Иллюстрации С. Н. Лопухова.*

# Содержание

Михаил Булгаков: «Как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?..»[1]	5
Записки юного врача	22
Полотенце с петухом	22
Крещение поворотом	41
Стальное горло	55
Вьюга	68
Тьма египетская	87
Пропавший глаз	102
Конец ознакомительного фрагмента.	111

**Михаил Афанасьевич  
Булгаков  
Записки юного  
врача. Ранняя проза**

© Оформление А. О. Муравенко, 2020

© Художник С. Н. Лопухов, 2020

© Издательство «Художественная литература», 2020

# Михаил Булгаков: «Как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?..»<sup>1</sup>

При жизни Михаила Булгакова вряд ли кому в голову пришло бы называть его «классиком». Первое, с чем писатель столкнулся после яркого, но кратковременного успеха в середине 20-х годов, было недоверие, хула, политические наветы, а в последние, наиболее плодотворные, десять лет его жизни – замалчивание и забвение.

Одновременно шел и другой процесс – переводы Булгакова на многие языки постепенно завоевывали весь культурный мир.

Михаил Афанасьевич Булгаков родился в Киеве на Воздвиженской улице 3 (15) мая 1891 года. Златокупольный, тонущий в садах Киев с Владимирской горкой над Днепром – «мать городов русских», где как бы сошлись Юг и Север, песенная народность и столичная культура, Украина и Россия, – остался навсегда для писателя притягательнейшим местом на земле.

Михаил был первенцем в большой семье преподавателя

---

<sup>1</sup> Цитата из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», гл. 29.

Духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова. Мать, Варвара Михайловна, урожденная Покровская, в молодости учительница, потом вспоминала о своей профессии лишь в годы бедствий, служа инспектором на женских курсах. Но при жизни мужа ей с лихвою хватало обязанностей хозяйки дома – нужно было поднять семерых детей, троих мальчиков и четырех девочек.

Отец писателя был историком церкви. Коллеги чтили Афанасия Ивановича как человека справедливого, без уклонов в крайность, терпимого, строго объективного. В 1886 году он успешно защитил магистерскую диссертацию и получил звание доцента. Преподавал в академии общую древнюю гражданскую историю, историю и разбор западных исповеданий. Хорошо знал греческий, английский, французский, немецкий. Знания языков емугодились в должности цензора, когда приходилось просматривать иностранные книги и давать свои рекомендации. Довелось ему читать и «Коммунистический манифест». Все это – ради денег: семья разрасталась, один за другим появлялись дети, росли потребности, жалованья не хватало, вот и брался за сверхурочную работу.

В 1907 году Афанасий Иванович умер от склероза почек, той самой наследственной болезни, которая тридцать три года спустя настигнет и его сына. В пятнадцать лет лишившись отца, оставшись за старшего помощника матери в большой, многодетной семье, Михаил не слишком радовал близ-

ких гимназическими успехами, да и особых способностей не проявлял. Окончил Первую Киевскую гимназию, получив аттестат зрелости лишь с двумя отличными оценками – по закону божьему и географии.

Дни отрочества и юности, дом на Андреевском спуске, семья под началом сильной, гордой и деятельной Варвары Михайловны в памяти Булгакова всегда были окружены поэтической дымкой, как оазис мира, семейного тепла, интеллигентного быта – с музыкой, чтением вслух по вечерам, праздником елки и домашними спектаклями. Простой и демократичный стиль общения царил в не слишком богатом, но уютном доме, который вначале заполнял шум звонких ребяческих голосов, потом – споры, пение, смех веселой, шумной молодежи.

У Михаила рано развилось чувство самостоятельности, взрослости. В младших классах, как рассказывали его одноклассники, он был изрядным драчуном, в старших – пуще всего охранял независимость и достоинство. Панибратства и фамильярности не терпел с молодых лет. Слишком рано, по мнению матери, надумал жениться, увлекшись девушкой из Саратова, и был самостоятелен в выборе своего будущего. После окончания гимназии в июне 1909 года Михаил долго колебался, куда пойти учиться дальше. Варвара Михайловна мечтала, чтобы сыновья стали инженерами путей сообщения. Самого Михаила манила неизведанная в семье дорога артиста или литератора, но не было уверенности, что

его таланта окажется достаточно, чтобы связать с этими профессиями всю жизнь. И он выбрал путь, уже пройденный в семье: два брата Варвары Михайловны, Михаил и Николай Покровские, служили врачами. Да и отчим Булгакова, Иван Павлович Воскресенский, был врачом. Михаил Булгаков сделал такой же выбор.

Мировая война оборвала казавшийся предугаданным наперед, спокойный и ровный ток дней. Юная Татьяна Николаевна Лаппа, дочь управляющего саратовской казенной палатой, с которой Булгаков обвенчался в 1913 году, сполна поделила с ним первый круг жизненных мытарств.

Начало Первой мировой застало чету Булгаковых в Саратове, куда они отправились на лето к родителям Татьяны. Патриотический настрой, охвативший страну, не миновал и семью статского советника Лаппы. Его супруга, дама-патронесса города Саратова, организовала госпиталь, в котором предложила поработать зятю: именно так началась врачебная деятельность будущего автора «Записок юного врача».

В конце сентября 1914 г. студент-медик вернулся в Киев, ему надо было продолжать учиться, а 3 января 1916 г. получил свидетельство об окончании медицинского курса и специальности детского врача.

Булгаков, «лекарь с отличием», добровольцем Красного Креста попросился на фронт. Предполагал работать, как и год назад в Киеве, но его отправили ближе к фронту, в Ка-



монец-Подольский, потом в ходе наступления наших войск его перевели в Черновицы. Татьяна Николаевна следовала за ним. 24-летняя легкомысленная женщина, дочь крупного чиновника, которую готовили для обычной семейной жизни и мирных дворянских забот, угодила в самое пекло врачебной деятельности мужа.

Конечно, ее поступок был не единичным, немало русских женщин, среди них и дворянок, помогали в Первую мировую в госпиталях либо отправлялись на фронт сестрами милосердия (работала во время войны в тифозном госпитале и будущая вторая жена Булгакова Любовь Белозерская), но все же Тасин случай был особый. Она служила не Родине, не победе, не престолу – она делала все для мужа и только для него. Булгакову невероятно повезло с первой женой, ей с ним – нисколько. Все, что она делала в последующие годы, вызывает только восхищение. Если бы не было рядом с Михаилом Афанасьевичем этой женщины, явление писателя Булгакова в русской литературе не состоялось бы. Без Любви Евгеньевны Белозерской состоялось бы, даже без Елены Сергеевны Булгаковой (Шиловской) – тоже, пусть это был бы совсем другой Булгаков, без Татьяны Николаевны Лаппа – не было бы никакого. Он просто не выжил бы без нее физически, и это хорошо понимал. Не случайно сознался ей, когда они расстались, что бог его за нее накажет.

Освобожденный по болезни от призыва, Булгаков в 1916–1917 годах едет по назначению в земскую больницу в селе

Никольском под Сычевкой, на Смоленщине, где вместе с женой прожил больше года, не зная ни сна, ни отдыха, страдая и мучаясь от недостатка лекарств, инструментов, от темноты и невежества ставших близкими и родными ему односельчан. Работая врачом, за первый год Булгаков, по некоторым сведениям, принял 15615 больных, то есть едва ли не по 50 больных за день.

А в деревенской жизни были тоска, одиночество, от которого, по собственному признанию в одном из писем той поры, он спасался книгами и работой. Здесь все слишком чужое, ненавистное ему. Уехать оттуда, бежать без официального освобождения от воинской службы он не мог, поскольку работал как военнообязанный, и несколько раз пытался это освобождение выправить, но ему не давали. Деревня не вызывала в нем тех чувств, какие пробуждала она в предшествующем веке в Пушкине, Гончарове, Тургеневе, Фете, Толстом, да и надо сказать, он был в ней отнюдь не помещиком... Не случайно позднее Булгаков говорил, правда, на допросе в ОГПУ, но, несомненно, искренне: «На крестьянские темы я писать не могу, потому что деревню не люблю. Она мне представляется гораздо более кулацкой, нежели это принято думать»...

В феврале 1918-го Булгаков наконец-таки рассчитался со смоленским земством, получив освобождение от воинской службы, выданное ему после нескольких его безуспешных прошений Московским уездным воинским революционным

штабом. Получилось, что именно революция освободила нашего героя от ненавистой ему земской повинности.

Вернувшись в марте 1918 года из глухой русской провинции в родной Киев, Булгаков попытался заняться частной врачебной практикой. Прикрепил к дверям табличку о часах приема как вольнопрактикующий врач-венеролог, а в спокойные минуты сознательнее и усидчивее стал пробовать свое перо.

Впрочем, спокойных минут за те полтора года, что он провел в Киеве, продутым вихрями и охваченном пламенем гражданской войны, почитай что и не было. Белые, красные, оккупанты-немцы, гетман, петлюровцы, снова красные, снова Петлюра и опять белые... Позднее Булгаков писал, что насчитал в Киеве той поры четырнадцать переворотов, десять из которых лично пережил.

Очевидно, не по доброй воле и уж никак не из воинственного энтузиазма Булгаков попал в качестве врача в военные формирования деникинской армии и был отправлен с эшелоном через Ростов на Северный Кавказ.

Можно лишь догадываться, что первые впечатления революции в смоленской деревне, когда горели барские усадьбы, пожаром гулял мужицкий гнев, а ревкомы крутой поры военного коммунизма творили в Вязьме бессудные расправы, произвели гнетущее впечатление на Булгакова и заметно подвигли его в сторону старого режима, с которым связывалось «мирное время», счастливое «до войны»: уютный дом, лю-

бящие братья и сестры, ноты на пюпитре рояля... Кровавую черту под прошлым, как и для многих людей его круга, подвело известие о расстреле в 1918 году царской семьи. Коро-че, с белыми его связывало слишком многое. Как же оказал-ся он среди тех, кто стал сотрудничать с советской властью?

Когда после сражений белой армии на Кавказе с горцами, в которых Булгаков принял участие как военный врач, де-никинцы стали отступать под ударами Красной Армии, он остался во Владикавказе. То, что его вчерашние товарищи по оружию бросили его больным, в злейшем тифу, заставило Булгакова, по-видимому, пережить личное потрясение, уси-ленное общим позором поражения. И тогда он вместе с при-ятелем Юрием Слезкиным, известным петербургским бел-летристом, пошел сотрудничать в подотдел искусств новой власти. Сотрудничество с нею Булгаков воспринял не только как средство не погибнуть с голоду, но и как неизбежный по-ворот судьбы. Просветительство – лекции, доклады о Пуш-кине и Чехове, а вскоре и писание пьес для местного театра в чем-то отвечало его склонностям и стало заметно увлекать его.

Но на Кавказе он еще не оставлял мысли об эмиграции. Когда оказалось, что путь через Константинополь в Париж для него практически неосуществим, Булгаков примирился с неизбежным.

В 1920–1921 годах во Владикавказе Михаил окончатель-

но понял, что он не актер, не лектор и даже не врач, а прежде всего литератор. В письме к брату он сетовал, что зазря потерял четыре года для писательской работы.

Из немногочисленных уцелевших документов того времени известно, что в советском Владикавказе литературная карьера Михаила Афанасьевича началась с того, что он выступал с небольшими речами перед спектаклями, а также участвовал в разнообразных литературных диспутах. Эти полтора года Булгаков прожил, сочиняя для владикавказского театра и посылая слабые пьесы в Москву в надежде, что на них обратит внимание Мейерхольд. Вся эта незначительная творческая поденка подтверждала очевидное: в маленьких, далеких от центра местах ничего не добьешься – нужен был большой культурный русский город с театрами, издательствами. Булгаков искал место приложения своих сил, колебался, сомневался, в его мыслях была Москва, в которой именно в 1921 году началось экономическое оживление и появились первые частные издания.

Оказавшись в конце 1921 года в Москве без службы, жилья и денег, писатель пошел по знакомому с Владикавказа следу: он разыскал ЛИТО (Литературный отдел Главполитпросвета при Наркомпросе) и устроился туда секретарем. Однако век этого учреждения был недолог. С наступлением нэпа Москва перешла к новой жизни в борьбе за существование.

В Москве было трудно, холодно, но все же одно и очень

важное отличие от теплого юга здесь имелось – больше работы и, как следствие, больше возможностей зарабатывать. Бегая в поисках заработка по Москве, перебиваясь чаем с сахарином и картошкой на постном масле, Булгаков твердо знал, чего хочет. Для начала мечтал начать жить по-людски, но еще больше – получить литературное имя и в покое продолжить писание большого романа, начатого еще во Владикавказе.

Прежде чем стать московским журналистом, Булгакову пришлось поработать конферансье, редактором хроники в частной газете, занимать должность инженера в Научнотехническом комитете, сочинять проект световой рекламы. Однако с весны 1922 года он плотно входит в столичный журнальный мирок – печатается в «Рабочем», «Рупоре», «Железнодорожнике», «Красном журнале для всех» и т. п. С помощью знакомого журналиста А. Эрлиха устраивается в 1923 году литобработчиком в газету «Гудок», а вскоре становится постоянным фельетонистом газеты. За четыре года «Гудок» напечатал более 100 фельетонов, репортажей и очерков Михаила Булгакова. А в литературном приложении к берлинской газете «Накануне» были опубликованы «Записки на манжетах», «Похождение Чичикова», «Красная панорама».

Миновали два года столичной жизни. За это время Булгаков успел встать на ноги, сделать себе имя если не в литературе, то в журналистике, уйти от голода и нищеты, обзаве-

стись литературными знакомствами, нажить друзей и врагов, стать автором хоть и сомнительного, но известного и относительно прибыльного заграничного издания. Однако приспособиться внутренне к советской жизни и приблизиться к советской литературе так и не сумел. Ни в одном толстом литературном журнале – «Новом мире», «Красной ниве», «Красной нови», «Октябре», через которые входили в советскую литературу или существовали в ней «законные» советские писатели, Булгаков не напечатался.

Почувствовав в себе созревшую силу, он ставит перед собой одиозную задачу – и с нею движется и растет. Эта задача – картина гражданской войны, которая, по его замыслу, должна быть не только написана в традициях «Войны и мира», но и по размаху ориентироваться на толстовскую эпопею.

Основная работа над «Белой гвардией» шла в 1923–1924 годы. Булгаков к этому времени уже несколько лет жил в Москве, в квартире мужа своей сестры, Надежды Земской (позднее это пристанище станет прообразом «нехорошей квартиры» в «Мастере и Маргарите»). Писатель жалуется в дневнике на плохие жилищные условия, безденежье, проблемы со здоровьем, надоевшую ему работу в газете. Свой первый роман пишет преимущественно по ночам. Этот процесс то окрыляет его («сейчас я слышу в себе, как взмывает моя мысль, и верю, что я неизмеримо сильнее как писатель всех, кого я ни знаю»), то ввергает в уныние («горько раска-

иваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование»).

Первая часть «Белой гвардии» вышла в «России» в самом конце 1924 года. Вторая появилась весной 1925-го в пятом номере «России», а третья не вышла вообще. Выход первого булгаковского романа (вернее, его первой части) почти никто не заметил. Не дал роману высокой оценки и внимательно приглядывавший за молодой литературой Горький, хотя и знал о его существовании.

В 1927 году 11 первых глав романа (с началом 12-й) без ведома автора вышли отдельной книгой в парижском издательстве Concorde. Concorde издало только одну книгу, «Белую гвардию», и сразу же закрылось. Заключительные главы «Белой гвардии» вышли отдельным томом в парижском издательстве «Москва» в 1929 году. Для этого издания Булгаков сам переделал концовку, первоначально написанную для журнала «Россия»: в 1925 году он еще полагал, что будет писать трилогию, для парижской же книги пришлось изменить финал так, чтобы «Белая гвардия» выглядела законченным произведением. Именно по парижским изданиям до сих пор идут перепечатки романа, а его журнальное окончание обычно приводится отдельно. В СССР в полном виде «Белая гвардия» была напечатана только в 1966 году.

Пока Булгаков не остыл от этой книги, он считал ее самой важной в своей судьбе, а спустя годы в разговоре со своим биографом П. С. Поповым признал роман «неудавшимся».



Роман пригодился своему создателю лишь как основа для будущей пьесы, по-настоящему переменившей его жизнь.

Буквально через три недели после выхода «Белой гвардии» в журнале «Россия» Булгаков приступил к работе над пьесой на тот же сюжет. Миновав череду многочисленных переработок и «политических» закулисных схваток, пьеса, получившая название «Дни Турбиных», была поставлена на сцене МХАТа, где с перерывами шла до июня 1941 года – всего прошло около тысячи спектаклей. Режиссеры молодой части труппы Художественного театра проницательно угадали в недопечатанном «Россией» романе таившуюся в нем пьесу. Представленная впервые 5 октября 1926 года она имела ураганный успех и навсегда стала визитной карточкой Булгакова-драматурга, как «Мастер и Маргарита» – эмблемой его как прозаика. Театр помог Булгакову довести его детище до сцены при резком сопротивлении Главреперткома, объявившего молодому драматургу настоящую войну. С одной стороны бешеный успех у зрителей, аплодисменты, очереди за билетами, спекулянты, контрамарки, с другой – яростное неприятие спектакля коммунистами, которые просто отказывались понимать, как это возможно, чтобы на девятом году революции на сцене лучшего театра Советской страны недобитые беляки распевали свои песни, а публика им открыто сочувствовала и за них переживала.

Сам Булгаков получал теперь с каждого представления 180 руб. (проценты), вторая его пьеса («Зойкина квартира»)

усиленным темпом готовится к показу в студии Вахтангова, а третья («Багровый остров») уже начинает анонсироваться Камерным театром.

Однако успеха спектаклей Главрепертком долго терпеть не смог: под улюлюканье критики 20 марта 1929 года «Зойкина квартира», заодно с «Турбинами», была снята с репертуара.

Вовсе не смогла увидеть сцены и написанная в 1927 году пьеса «Бег». То, что «Бег» не был поставлен, несмотря на горячее желание Художественного театра и бурную поддержку Горького, сулившего спектаклю «анафемский успех», надо отнести не столько к особенностям пьесы, сколько к той обстановке травли, какая клубилась вокруг Булгакова к 1928 году.

Булгаков промучился так два года, и 28 марта 1930 года написал письмо Правительству СССР с просьбой «в срочном порядке покинуть пределы СССР в сопровождении жены»:

«Я прошу принять во внимание, что невозможность писать для меня равносильна погребению заживо...

Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в Отечестве, великодушно отпустить на свободу. Если же меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу советское правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера».

Ведь в то время все попытки Булгакова найти работу в театре терпели фиаско. Его имя было настолько известно, что предложения работы с его стороны встречались директорами театров с испугом.

За письмом последовал легендарный телефонный звонок Иосифа Сталина Булгакову (18 апреля 1930 года), и, как результат обращения к правительству, – превращение свободного литератора в служащего МХАТа (за границу писателя не выпустили, несмотря на то что в это же время был разрешен отъезд другому писателю-диссиденту Е. И. Замятину). Булгаков был принят во МХАТ на должность ассистента режиссера, ассистировал в постановке по собственной инсценировке гоголевских «Мертвых душ». Ночами же сочинял «роман о дьяволе» (так первоначально видел роман Булгаков о «Мастере и Маргарите»). Тогда же появилась и надпись на полях рукописи: «Дописать прежде, чем умереть». Роман уже тогда осознавался автором как главное дело его жизни. Последние вставки он диктовал жене в феврале 1940 года, за три недели до смерти. Он писал «Мастера и Маргариту» в общей сложности более десяти лет, поправляя и переделывая написанное, на долгие месяцы оставляя рукопись и вновь возвращаясь к ней. Одновременно шла работа над пьесами, инсценировками, либретто, но роман был книгой, с которой он не в силах был расстаться. Роман-судьба, роман-завещание...

«Батум» стал последней пьесой Михаила Афанасьевича

Булгакова (первоначально она носила название «Пастырь»). Театры готовились к 60-летию Сталина. Учитывая месяцы, необходимые для проведения через цензуру особо ответственной вещи, а также для репетиций, поиск авторов к юбилею начался еще в 1937 году. После настоятельных просьб дирекции МХАТа над пьесой о вожде начал работать и Булгаков. Он и тут идет нетрадиционным путем: пишет не о всемогущем вожде, как авторы прочих юбилейных сочинений, а рассказывает о юности Джугашвили, начиная пьесу с его изгнания из семинарии. Затем проводит героя через унижения, тюрьму и ссылку, т. е. превращает диктатора в обычного драматического персонажа, обходится с биографией вождя как с материалом, подлежащим свободному творческому претворению. Ознакомившись с пьесой, Сталин... запретил ее постановку.

Этот провал окончательно подорвал моральные и физические силы Булгакова. Спустя несколько недель после известия о запрещении «Батума», осенью 1939 года, у писателя открывается внезапная слепота: симптом той же болезни почек, от которой умер его отец.

Воля смертельно больного человека лишь отодвинула смерть, наступившую через полгода.

Булгаков умер от нефросклероза 10 марта 1940 года в своей московской квартире на улице Фурманова. Жития ему было, как говорилось в старых книгах, неполных 49 лет. Почти все, сделанное писателем, еще более четверти века жда-

ло своего часа в рабочем столе: роман «Мастер и Маргарита», повести «Собачье сердце» и «Жизнь господина де Мольера» (1933), а также ни разу не напечатанные при жизни Булгакова 16 пьес.

Урна с прахом писателя захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

В настоящем сборнике издательство «Художественная литература», неоднократно выпускавшее книги М. Булгакова, публикует несколько ранних произведений русского классика, создавших в свое время его литературную славу<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Материал подготовлен по обзору вступительной статьи В. Я. Лакшина в сборнике сочинений М. А. Булгакова в пяти томах (изд-во «Художественная литература», 1989 г.)

# Записки юного врача

## Полотенце с петухом

Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего: все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу.

Скажу коротко: сорок верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьинской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно: в два часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки, а в два часа пять минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял на битой, умирающей и смягшей от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьинской больницы. Стоял я в таком виде: ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же, во дворе, мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы? Как ее, проклятую, зовут по-латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах говорить не приходится — они уже не шевелились в сапогах, лежали смир-

но, были похожи на деревянные кульяпки. Сознаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное пять лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и наконец плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать, и опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь – паралич... «Парализис», – отчаянно, мысленно и черт знает зачем сказал я себе.

– П...по вашим дорогам, – заговорил я деревянными, синенькими губами, – нужно п...привыкнуть ездить...

И при этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге.

– Эх... товарищ доктор, – отозвался возница, тоже еле шевеля губами под светлыми усишками, – пятнадцать годов езу, а все привыкнуть не могу.

Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию – двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками:

...Привет тебе... при-ют свя-щенный...

Прощай, прощай надолго, золото-красный Большой театр, Москва, витрины... ах, прощай.

«Я тулуп буду в следующий раз надевать... – в злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни негнушимися руками, – я... хотя в следующий раз будет уже октябрь... хоть два тулупа надевай. А раньше чем через месяц я не поеду, не поеду в Грачевку... Подумайте сами... ведь ночевать пришлось! Двадцать верст сделали и оказались в могильной тьме... ночь... в Грабиловке пришлось ночевать... учитель пустил... А сегодня утром выехали в семь утра... И вот едешь... батюшки-светы... медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух подымается, чемодан на ноги – бух... потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком. А сверху сеет и сеет, и стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лютую зиму?! Ан, оказывается, может. И пока умираешь медленной смертью, видишь одно и то же, одно. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а возле него серые драные избы, штук пять или шесть. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание, молчание кругом...»

Чемодан наконец поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за



ремень, но рука отказалась работать, и распухший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув меня по ногам.

— Эх ты, госпо... — начал возница испуганно, но я никаких претензий не предъявлял — ноги у меня были все равно хоть выбрось их.

— Эй, кто тут? Эй! — закричал возница и захлопал руками, как петух крыльями. — Эй, доктора привез!

Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица, прилипли к ним, хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежав на два шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голосом приветствовал меня:

— Здравствуйте, товарищ доктор.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Егорыч я, — отрекомендовался человек, — сторож здешний. Уж мы вас ждем, ждем...

И тут же он ухватился за чемодан, вскинул его на плечо и понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаюсь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне.

Человеку, в сущности, очень немного нужно. И прежде всего ему нужен огонь. Направляясь в мурынскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться:

– Доктор такой-то.

И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал:

– Неужели? А я-то думал, что вы еще студент.

– Нет, я кончил, – хмуро отвечал я и думал: «Очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить ни к чему, глаза у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в двадцать три года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это, как теперь, по прошествии многих лет, понимаю, очень плохо.

В данный момент я этот свой неписанный кодекс поведения нарушил. Сидел скорчившись, сидел в одних носках, и не где-нибудь в кабинете, а сидел в кухне и, как огнепоклонник, вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, и на ней лежали мои ботинки, рядом с ними ободранный, голокожий петух с окровавленной шеей, рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще в состоянии окоченения я уже успел произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь. Востроносая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее

руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич, акушерок – Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с тою же ясностью я вынужден был признать (про себя, конечно), что очень многих блестящих девственно инструментов назначение мне вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видал.

– Гм, – очень многозначительно промычал я, – однако у вас инструментарий прелестный. Гм...

– Как же-с, – сладко заметил Демьян Лукич, – это все стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал.

Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики.

Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить сорок человек.

– У Леопольда Леопольдовича иногда и пятьдесят лежало, – утешил меня Демьян Лукич, а Анна Николаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то сказала:

– Вы, доктор, так моложавы... так моложавы... Прямо удивительно. Вы на студента похожи.

«Фу ты, черт, – подумал я, – как сговорились, честное слово!»

И проворчал сквозь зубы, сухо:

– Гм... нет, я... то есть я... да, молодежав...

Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах пахло травами, и на полках стояло все что угодно. Были даже патентованные заграничные средства, и нужно ли добавлять, что я никогда не слышал о них ничего.

– Леопольд Леопольдович выписал, – с гордостью сообщила Пелагея Ивановна.

«Прямо гениальный человек был этот Леопольд», – подумал я и проникся уважением к таинственному, покинувшему тихое Мурье Леопольду.

Человеку, кроме огня, нужно еще освоиться. Петух был давно мною съеден, сенник для меня набит Егорычем, покрыт простыней, горела лампа в кабинете в моей резиденции. Я сидел и, как зачарованный, глядел на третье достижение легендарного Леопольда: шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около тридцати томов. А терапия! Накожные чудные атласы!

Надвигался вечер, и я осваивался.

«Я ни в чем не виноват, – думал я упорно и мучительно, – у меня есть диплом, я имею пятнадцать пятерок. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет. Они улыбались и говорили: “Освойтесь”. Вот тебе и освоитесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с нею освоюсь? И в особенности, каково будет чувствовать

себя больной с грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете (тут у меня холод по позвоночнику)...

А гнойный аппендицит? Га! А дифтерийный круп у деревенских ребят? Когда трахеотомия показана? Да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо... А... а... роды! Роды-то забыл! Неправильные положения. Что ж я буду делать? А? Какой я легкомысленный человек! Нужно было отказаться от этого участка! Нужно было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда».

В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидел, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне.

«Я похож на Лжедмитрия», – вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол.

Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уж больше мои нервы не выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые планы.

Так-с... Прием, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях мнут лен, бездорожье... «Тут-то тебе грыжу и привезут, – бухнул суровый голос в мозгу, – потому что по бездорожью человек с насморком (нетрудная болезнь) не поедет, а грыжу притащат, будь покоен, дорогой коллега доктор».

Голос был неглуп, не правда ли? Я вздрогнул.

«Молчи, – сказал я голосу, – не обязательна грыжа. Что за неврастения. Взялся за гуж, не говори, что не дюж».

«Назвался груздем, полезай в кузов», – ехидно отозвался голос.

Так-с... со справочником я расставаться не буду... Если что выписать, можно, пока руки моешь, обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записей больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, натри салицилицы 0,5 по одному порошку три раза в день...

«Соду можно выписать!» – явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник.

При чем тут сода? Я и ипекакуанку выпишу – инфузум... на сто восемьдесят. Или на двести. Позвольте.

И тут же, хотя никто и не требовал от меня в одиночестве у лампы ипекакуанки, я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил ипекакуанку, а попутно прочитал машинально и о том, что существует на свете какой-то «инсипин». Он не кто иной, как «сульфат эфира хининдигликолевой кислоты»... Оказывается, вкуса хинина не имеет! Но зачем он? И как его выписать? Он что, порошок? Черт его возьми!

«Инсипин инсипином, а как же все-таки с грыжей будет?» – упорно приставал страх в виде голоса.

«В ванну посажу, – остервенело защищался я, – в ванну. И попробую вправить».

«Ущемленная, мой ангел! Какие тут, к черту, ванны! Ущемленная, – демонским голосом пел страх. – Резать на-

до...»

Тут я сдался и чуть не заплакал. И моление тьме за окном послал: все что угодно, только не ущемленную грыжу.

А усталость напевала:

«Ложись ты спать, злосчастный эскулап. Выспишься, а утром будет видно. Успокойся, юный неврастеник. Гляди – тьма за окнами покойна, спят стынувшие поля, нет никакой грыжи. А утром будет видно. Освоишься... Спи... Брось атлас... Все равно ни пса сейчас не разберешь. Грыжевое кольцо...»

Как он влетел, я даже не сообразил. Помнится, болт на двери загремел, Аксинья что-то пискнула. Да еще за окнами проскрипела телега.

Он без шапки, в расстегнутом полушубке, со свалившейся бородкой, с безумными глазами.

Он перекрестился, и повалился на колени, и бухнул лбом в пол. Это мне.

«Я пропал», – тоскливо подумал я.

– Что вы, что вы, что вы! – забормотал я и потянул за серый рукав.

Лицо его перекосило, и он, захлебываясь, стал бормотать в ответ прыгающие слова:

– Господин доктор... господин... единственная, единственная... единственная! – выкрикнул он вдруг по-юношески звонко, так, что дрогнул ламповый абажур. – Ах ты, гос-

поди... Ах... – Он в тоске заломил руки и опять забухал лбом в половицы, как будто хотел разбить его. – За что? За что наказание?.. Чем прогневали?

– Что? Что случилось?! – выкрикнул я, чувствуя, что у меня холодеет лицо.

Он вскочил на ноги, метнулся и прошептал так:

– Господин доктор... что хотите... денег дам... Деньги берите, какие хотите. Какие хотите. Продукты будем доставлять... Только чтоб не померла. Только чтоб не померла. Калекой останется – пушай. Пушай! – кричал он в потолок. – Хватит прокормить, хватит.

Бледное лицо Аксины висело в черном квадрате двери. Тоска обвилась вокруг моего сердца.

– Что?.. Что? Говорите! – выкрикнул я болезненно.

Он стих и шепотом, как будто по секрету, сказал мне, и глаза его стали бездонны:

– В мялку попала...

– В мялку... в мялку?.. – переспросил я. – Что это такое?

– Лен, лен мяли... господин доктор... – шепотом пояснила Аксиныя, – мялка-то... лен мнут...

«Вот начало. Вот. О, зачем я приехал!» – в ужасе подумал я.

– Кто?

– Дочка моя, – ответил он шепотом, а потом крикнул: – Помогите! – И вновь повалился, и стриженные его в скобку волосы метнулись на его глаза.





Лампа-молния с покривившимся жестяным абажуром горела жарко, двумя рогами. На операционном столе, на белой, свежеспавнущей клеенке я ее увидел, и грыжа померкла у меня в памяти.

Светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со стола сбившимся засохшим колтуном. Коса была гигантская, и конец ее касался пола. Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета – пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет «молнии» показался мне желтым и живым, а ее лицо бумажным, белым, нос заострен.

На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижная, потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо.

В операционной секунд десять было полное молчание, но за закрытыми дверями слышно было, как глухо выкрикивал кто-то и бухал, все бухал головой.

«Обезумел, – думал я, – а сиделки, значит, его отпаивают... Почему такая красавица? Хотя у него правильные черты лица. Видно, мать была красивая... Он вдовец...»

– Он вдовец? – машинально шепнул я.

– Вдовец, – тихо ответила Пелагея Ивановна.

Тут Демьян Лукич резким, как бы злобным движением от края до верху разорвал юбку и сразу ее обнажил. Я гля-

нул, и то, что увидал, превысило мои ожидания. Левой ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена, лежала кровавая рвань, красные мятые мышцы и остро во все стороны торчали белые раздавленные кости. Правая была переломлена в голени так, что обе кости концами выскочили наружу, пробив кожу. От этого ступня ее безжизненно, как бы отдельно, лежала, повернувшись набок.

– Да, – тихо молвил фельдшер и ничего больше не прибавил.

Тут я вышел из оцепенения и взялся за ее пульс. В холодной руке его не было. Лишь после нескольких секунд нашел я чуть заметную редкую волну. Она прошла... потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синеющие крылья носа и белые губы... Хотел уже сказать: конец... по счастью, удержался... Опять прошла ниточкой волна.

«Вот как потухает изорванный человек, – подумал я, – тут уж ничего не сделаешь...»

Но вдруг сурово сказал, не узнавая своего голоса:

– Камфары.

Тут Анна Николаевна склонилась к моему уху и шепнула:

– Зачем, доктор? Не мучайте. Зачем еще колоть? Сейчас отойдет... Не спасете.

Я злобно и мрачно оглянулся на нее и сказал:

– Попрошу камфары...

Так, что Анна Николаевна с вспыхнувшим обиженным лицом сейчас же бросилась к столику и сломала ампулу.

Фельдшер тоже, видимо, не одобрял камфары. Тем не менее он ловко и быстро взялся за шприц, и желтое масло ушло под кожу плеча.

«Умирай. Умирай скорее, – подумал я, – умирай. А то что же я буду делать с тобой?»

– Сейчас помрет, – как бы угадав мою мысль, шепнул фельдшер. Он покосился на простыню, но, видимо, раздумал: жаль было кровавить простыню. Однако через несколько секунд ее пришлось прикрыть. Она лежала как труп, но она не умерла. В голове моей вдруг стало светло, как под стеклянным потолком нашего далекого анатомического театра.

– Камфары еще, – хрипло сказал я.

И опять покорно фельдшер впрыснул масло.

«Неужели же не умрет?.. – отчаянно подумал я. – Неужели придется...»

Все светлело в мозгу, и вдруг без всяких учебников, без советов, без помощи я сообразил – уверенность, что сообразил, была железной, – что сейчас мне придется в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию. И человек этот умрет под ножом. Ах, под ножом умрет. Ведь у нее же нет крови! За десять верст вытекло все через раздробленные ноги, и неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас, слышит ли. Она молчит. Ах, почему она не умирает? Что скажет мне безумный отец?

– Готовьте ампутацию, – сказал я фельдшеру чужим голо-

сом.

Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался у инструментов. Под руками у него взревел примус...

Прошло четверть часа. С суеверным ужасом я вглядывался в угасший глаз, приподымая холодное веко. Ничего не постигаю. Как может жить полутруп? Капли пота неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого колпака, и марлей Пелагея Ивановна вытирала соленый пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь плавал и кофеин. Нужно было его впрыскивать или нет? На бедрах Анна Николаевна, чуть-чуть касаясь, гладила бугры, набухшие от физиологического раствора. А девушка жила.

Я взял нож, стараясь подражать (раз в жизни в университете я видел ампутацию) кому-то... Я умолял теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие полчаса она не померла...

«Пусть умрет в палате, когда я окончу операцию...»

За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычайностью обстановки. Я кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки крови. «Сосуды начнут кровить, что я буду делать?» – думал я и, как волк, косился на грудку торзионных пинцетов. Я срезал громадный кус женского мяса и один из сосудов – он был в виде белой трубочки, но ни капли крови не выступило из него. Я зажал его торзионным пинцетом и двинулся дальше. Я на-

тыкал эти торзионные пинцеты всюду, где предполагал сосуды... «Arteria... arteria... как, черт, ее?..» В операционной стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели гроздьями. Их марлей оттянули кверху вместе с мясом, и я стал мелкозубой ослепительной пилой пилить круглую кость.

«Почему не умирает?.. Это удивительно... ох, как живуч человек!»

И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей ногой. Лохмы, мясо, кости! Все это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культей. «Еще, еще немножко... не умирай, – вдохновенно думал я, – потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни».

Потом вязали лигатурами, потом, щелкая коленом, я стал редкими швами зашивать кожу... но остановился, осененный, сообразил... оставил сток... вложил марлевый тампон... Пот застилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане...

Отдулся. Тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо. Спросил:

– Жива?

– Жива... – как беззвучное эхо, отозвались сразу и фельдшер, и Анна Николаевна.

– Еще минуточку проживет, – одними губами, без звука в ухо сказал мне фельдшер. Потом запнулся и деликатно по-

советовал: – Вторую ногу, может, и не трогать, доктор. Мар-лей, знаете ли, замотаем... а то не дотянет до палаты... А? Все лучше, если не в операционной скончается.

– Гипс давайте, – сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой.

Весь пол был заляпан белыми пятнами, все мы были в поту. Полутруп лежал недвижно. Правая нога была забинтована гипсом, и зияло на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома.

– Живет... – удивленно хрипнул фельдшер.

Затем ее стали подымать, и под простыней был виден гигантский провал – треть ее тела мы оставили в операционной.

Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и я видел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль. Но его удалили. И стихло.

В операционной я мыл окровавленные по локоть руки.

– Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций? – вдруг спросила Анна Николаевна. – Очень, очень хорошо... Не хуже Леопольда...

В ее устах слово «Леопольд» неизменно звучало как «Ду-айен».

Я исподлобья взглянул на лица. И у всех – и у Демьяна Лукича, и у Пелагеи Ивановны – заметил в глазах уважение и удивление.

– Кхм... я... Я только два раза делал, видите ли...

Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно.

В больнице стихло. Совсем.

– Когда умрет, обязательно пришлите за мной, – вполголоса приказал я фельдшеру, и он почему-то вместо «хорошо» ответил почтительно:

– Слушаю-с...

Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабинете докторской квартиры. Дом молчал.

Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле.

«Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца, и я, видите ли, постарел как-то... Складка над переносицей... Сейчас постучат... Скажут: “Умерла”...»

Да, пойду и погляжу в последний раз... Сейчас раздастся стук...

\* \* \*

В дверь постучали. Это было через два с половиной месяца. В окне сиял один из первых зимних дней.

Вошел он; я его разглядел только тогда. Да, действительно, черты лица правильные. Лет сорока пяти. Глаза искрятся.

Затем шелест... На двух костылях впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой.

Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской.

– В Москве... в Москве... – И я стал писать адрес. – Там устроят протез, искусственную ногу...

– Руку поцелуй, – вдруг неожиданно сказал отец.

Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос.

Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Так вот что она прятала под подушку на осмотрах. То-то, я помню, нитки лежали на столике.

– Не возьму, – сурово сказал я и даже головой замотал. Но у нее стало такое лицо, такие глаза, что я взял...

И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьине, потом странствовало со мной. Наконец обветшало, стерлось, продырявилось и, наконец, исчезло, как стираются и исчезают воспоминания.



# Крещение поворотом

Побежали дни в N-ской больнице, и я стал понемногу привыкать к новой жизни.

В деревнях по-прежнему мяли лен, дороги оставались непроезжими, и на приемах у меня бывало не больше пяти человек. Вечера были совершенно свободны, и я посвящал их разбору библиотеки, чтению учебников по хирургии и долгим одиноким чаепитиям у тихо поющего самовара.

Целыми днями и ночами лил дождь, и капли неумолчно стучали по крыше, и хлестала под окном вода, стекая по желобу в кадку. На дворе была слякоть, туман, черная мгла, в которой тусклыми, расплывчатыми пятнами светились окна фельдшерского домика и керосиновый фонарь у ворот.

В один из таких вечеров я сидел у себя в кабинете над атласом по топографической анатомии. Кругом была полная тишина, и только изредка грызня мышей в столовой за буфетом нарушала ее.

Я читал до тех пор, пока не начали слипаться отяжелевшие веки. Наконец зевнул, отложил в сторону атлас и решил лечь. Потягиваясь и предвкушая мирный сон под шум и стук дождя, перешел в спальню, разделся и лег.

Не успел я коснуться подушки, как передо мной в сонной мгле всплыло лицо Анны Прохоровой, семнадцати лет, из деревни Торопово. Анне Прохоровой нужно было рвать

зуб. Проплыл бесшумно фельдшер Демьян Лукич с блестящими щипцами в руках. Я вспомнил, как он говорит «таковой» вместо «такой» – из любви к высокому стилю, усмехнулся и заснул.

Однако не позже чем через полчаса я вдруг проснулся, словно кто-то дернул меня, сел и, испуганно всматриваясь в темноту, стал прислушиваться.

Кто-то настойчиво и громко барабанил в наружную дверь, и удары эти показались мне сразу зловещими.

В квартиру стучали.

Стук замолк, загремел засов, послышался голос кухарки, чей-то неясный голос в ответ, затем кто-то, скрипя, поднялся по лестнице, тихонько прошел кабинет и постучался в спальню.

– Кто там?

– Это я, – ответил мне почтительный шепот, – я, Аксинья, сиделка.

– В чем дело?

– Анна Николаевна прислала за вами, велят вам, чтоб вы в больницу шли поскорей.

– А что случилось? – спросил я и почувствовал, как явно экнуло сердце.

– Да женщину там привезли из Дульцева. Роды у ей неблагополучные.

«Вот оно. Началось! – мелькнуло у меня в голове, и я никак не мог попасть ногами в туфли. – А, черт! Спички не за-

гораются. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Не всю же жизнь одни ларингиты да катары желудка».

– Хорошо. Иди, скажи, что я сейчас приду! – крикнул я и встал с постели. За дверью зашлепали шаги Аксиньи, и снова загремел засов. Сон соскочил мигом. Торопливо, дрожащими пальцами я зажег лампу и стал одеваться. Половина двенадцатого... Что там такое у этой женщины с неблагополучными родами? Гм... неправильное положение... узкий таз... Или, может быть, еще что-нибудь хуже. Чего доброго, щипцы придется накладывать. Отослать ее разве прямо в город? Да немыслимо это! Хорошенький доктор, нечего сказать, скажут все! Да и права не имею так сделать. Нет, уж нужно делать самому. А что делать? Черт его знает. Беда будет, если потеряюсь: перед акушерками срам. Впрочем, нужно сперва посмотреть, не стоит прежде времени волноваться...

Я оделся, накинул пальто и, мысленно надеясь, что все обойдется благополучно, под дождем, по хлюпающим досочкам побежал в больницу. В полутьме у входа виднелась телега, лошадь стукнула копытом в гнилые доски.

– Вы, что ль, привезли роженицу? – для чего-то спросил у фигуры, шевелившейся возле лошади.

– Мы... как же, мы, батюшка, – жалобно ответил бабий голос.

В больнице, несмотря на глухой час, было оживление и суета. В приемной, мигая, горела лампа-молния. В коридор-

чике, ведущем в родильное отделение, мимо меня прошмыгнула Аксинья с тазом. Из-за двери вдруг донесся слабый стон и замер. Я открыл дверь и вошел в родилку. Выбеленная небольшая комната была ярко освещена верхней лампой. Рядом с операционным столом на кровати, укрытая одеялом до подбородка, лежала молодая женщина. Лицо ее было искажено болезненной гримасой, а намокшие пряди волос прилипли ко лбу. Анна Николаевна, с градусником в руках, приготавливала раствор в эсмарховской кружке, а вторая акушерка, Пелагея Ивановна, доставала из шкафика чистые простыни. Фельдшер, прислонившись к стене, стоял в позе Наполеона. Увидев меня, все встрепенулись. Роженица открыла глаза, заломила руки и вновь застонала жалобно и тяжело.

– Ну-с, что такое? – спросил я и сам подивился своему тону, настолько он был уверен и спокоен.

– Поперечное положение, – быстро ответила Анна Николаевна, продолжая подливать воду в раствор.

– Та-ак, – протянул я, нахмурясь, – что ж, посмотрим...

– Руки доктору мыть! Аксинья! – тотчас крикнула Анна Николаевна. Лицо ее было торжественно и серьезно.

Пока стекала вода, смывая пену с покрасневших от щетки рук, я задавал Анне Николаевне незначительные вопросы, вроде того, давно ли привезли роженицу, откуда она... Рука Пелагеи Ивановны откинула одеяло, и я, присев на край кровати, тихонько касаясь, стал ощупывать вздувшийся живот. Женщина стонала, вытягивалась, впивалась пальцами,

комкала простыню.

– Тихонько... тихонько... потерпи, – говорил я, осторожно прикладывая руки к растянутой жаркой и сухой коже.

Собственно говоря, после того как опытная Анна Николаевна подсказала мне, в чем дело, исследование это было ни к чему не нужно. Сколько бы я ни исследовал, больше Анны Николаевны я все равно бы не узнал. Диагноз ее, конечно, был верный. Поперечное положение. Диагноз налицо. Ну, а дальше?..

Хмурясь, я продолжал ощупывать со всех сторон живот и искоса поглядывал на лица акушеров. Обе они были сосредоточенно серьезны, и в глазах их я прочитал одобрение моим действиям. Действительно, движения мои были уверенны и правильны, а беспокойство свое я постарался спрятать как можно глубже и ничем его не проявлять.

– Так, – вздохнув, сказал я и приподнялся с кровати, так как смотреть снаружи было больше нечего, – поисследуем изнутри.

Одобрение опять мелькнуло в глазах Анны Николаевны.

– Акси́нья!

Опять полилась вода.

«Эх, Додерляйна бы сейчас почитать», – тоскливо думал я, намыливая руки. Увы, сделать это сейчас было невозможно. Да и чем бы помог мне в этот момент Додерляйн? Я смыл густую пену, смазал пальцы йодом. Зашуршала чистая простыня под руками Пелагеи Ивановны, и, склонившись к ро-

женице, я стал осторожно и робко производить внутреннее исследование. В памяти у меня невольно всплыла картина операционной в акушерской клинике. Яркие горящие электрические лампы в матовых шарах, блестящий плиточный пол, всюду сверкающие краны и приборы. Ассистент в снежно-белом халате манипулирует над роженицей, а вокруг него три помощника-ординатора, врачи-практиканты, толпа студентов-кураторов. Хорошо, светло и безопасно.

Здесь же я – один-одинешенек, под руками у меня мучающаяся женщина; за нее я отвечаю. Но как ей нужно помогать, я не знаю, потому что вблизи роды видел только два раза в своей жизни в клинике, и те были совершенно нормальны. Сейчас я делаю исследование, но от этого не легче ни мне, ни роженице; я ровно ничего не понимаю и не могу прощупать там у нее внутри.

А пора уже на что-нибудь решиться.

– Поперечное положение... раз поперечное положение, значит, нужно... нужно делать...

– Поворот на ножку, – не утерпела и словно про себя заметила Анна Николаевна.

Старый опытный врач покосился бы на нее за то, что она суется вперед со своими заключениями... Я же человек необидчивый...

– Да, – многозначительно подтвердил я, – поворот на ножку.

И перед глазами у меня замелькали страницы Додерляй-

на. Поворот прямой... поворот комбинированный... поворот непрямой...

Страницы, страницы... а на них рисунки. Таз, искривленные, сдавленные младенцы с огромными головами... свисающая ручка, на ней петля.

И ведь недавно еще читал. И еще подчеркивал, внимательно вдумываясь в каждое слово, мысленно представляя себе соотношение частей и все приемы. И при чтении казалось, что весь текст отпечатывается навеки в мозгу.

А теперь только и всплывает из всего прочитанного одна фраза:

«...Поперечное положение есть абсолютно неблагоприятное положение».

Что правда, то правда. Абсолютно неблагоприятное как для самой женщины, так и для врача, шесть месяцев тому назад окончившего университет.

– Что ж... будем делать, – сказал я, приподнимаясь.

Лицо у Анны Николаевны оживилось.

– Демьян Лукич, – обратилась она к фельдшеру, – приготовляйте хлороформ.

Прекрасно, что сказала, а то ведь я еще не был уверен, под наркозом ли делается операция! Да, конечно, под наркозом – как же иначе!

Но все-таки Додерляйна надо просмотреть...

И я, обмыв руки, сказал:

– Ну-с, хорошо... вы готовьте для наркоза, укладывайте

ее, а я сейчас приду, возьму только папиросы дома.

– Хорошо, доктор, успеется, – ответила Анна Николаевна.

Я вытер руки, сиделка набросила мне на плечи пальто, и, не надевая его в рукава, я побежал домой.

Дома в кабинете я зажег лампу и, забыв снять шапку, кинулся к книжному шкафу.

Вот он – Додерляйн. «Оперативное акушерство». Я торопливо стал шелестеть глянцевитыми страничками.

«...поворот всегда представляет опасную для матери операцию...»

Холодок прополз у меня по спине вдоль позвоночника.

«...Главная опасность заключается в возможности самопроизвольного разрыва матки».

Само-про-из-воль-но-го...

«...Если акушер при введении руки в матку, вследствие недостатка простора или под влиянием сокращения стенок матки, встречает затруднения к тому, чтобы проникнуть к ножке, то он должен отказаться от дальнейших попыток к выполнению поворота...»

Хорошо. Если я сумею даже каким-нибудь чудом определить эти «затруднения» и откажусь от «дальнейших попыток», что, спрашивается, я буду делать с захлороформированной женщиной из деревни Дульцево?

Дальше:



«...Совершенно воспрещается пытаться проникнуть к ножкам вдоль спинки плода...»

Примем к сведению.

«...Захватывание верхней ножки следует считать ошибкой, так как при этом легко может получиться осевое перекручивание плода, которое может дать повод к тяжелому вколачиванию плода и, вследствие этого, к самым печальным последствиям...»

«Печальным последствиям». Немного неопределенные, но какие внушительные слова! А что, если муж дульцевской женщины останется вдовцом? Я вытер испарину на лбу, собрался с силой и, минуя все эти страшные места, постарался запомнить только самое существенное: что, собственно, я должен делать, как и куда вводить руку. Но, пробегая черные строчки, я все время наталкивался на новые страшные вещи. Они били в глаза.

«...ввиду огромной опасности разрыва... внутренний и комбинированный повороты представляют операции, которые должны быть отнесены к опаснейшим для матери акушерским операциям...»

И в виде заключительного аккорда:

«...С каждым часом промедления возрастает опасность...»

Довольно! Чтение принесло свои плоды: в голове у меня

все спуталось окончательно, и я мгновенно убедился, что я не понимаю ничего, и прежде всего какой, собственно, поворот я буду делать: комбинированный, некомбинированный, прямой, не прямой!..

Я бросил Додерляйна и опустился в кресло, силясь привести в порядок разбегающиеся мысли... Потом глянул на часы. Черт! Оказывается, я уже двенадцать минут дома. А там ждут...

«...С каждым часом промедления...»

Часы состояются из минут, а минуты в таких случаях летят бешено. Я швырнул Додерляйна и побежал обратно в больницу.

Там все уже было готово. Фельдшер стоял у столика, приготавливая на нем маску и склянку с хлороформом. Роженица уже лежала на операционном столе. Непрерывный стон разносился по больнице.

– Терпи, терпи, – ласково бормотала Пелагея Ивановна, наклоняясь к женщине, – доктор сейчас тебе поможет...

– О-ой! Моченьки... нет... Нет моей моченьки!.. Я не вытерплю!

– Небось... небось... – бормотала акушерка, – вытерпишь! Сейчас понюхать тебе дадим... Ничего и не услышишь.

Из кранов с шумом потекла вода, и мы с Анной Николаевной стали чистить и мыть обнаженные по локоть руки. Анна Николаевна под стон и вопли рассказывала мне, как

мой предшественник – опытный хирург – делал повороты. Я жадно слушал ее, стараясь не проронить ни слова. И эти десять минут дали мне больше, чем все то, что я прочел по акушерству к государственным экзаменам, на которых именно по акушерству я получил «весьма». Из отрывочных слов, неоконченных фраз, мимоходом брошенных намеков я узнал то самое необходимое, чего не бывает ни в каких книгах. И к тому времени, когда стерильной марлей я начал вытирать идеальной белизны и чистоты руки, решимость овладела мной, и в голове у меня был совершенно определенный и твердый план. Комбинированный там или некомбинированный, сейчас мне об этом и думать не нужно.

Все эти ученые слова ни к чему в этот момент. Важно одно: я должен ввести одну руку внутрь, другой рукой снаружи помогать повороту и, полагаясь не на книги, а на чувство меры, без которого врач никуда не годится, осторожно, но настойчиво низвести одну ножку и за нее извлечь младенца.

Я должен быть спокоен и осторожен и в то же время безгранично решителен, нетруслив.

– Давайте, – приказал я фельдшеру и начал смазывать пальцы йодом.

Пелагея Ивановна тотчас же сложила руки роженицы, а фельдшер закрыл маской ее измученное лицо. Из темно-желтой склянки медленно начал капать хлороформ. Сладкий и тошный запах начал наполнять комнату. Лица у фельдшера и акушеров стали строгими, как будто вдохно-

венными...

– Га-а! А!! – вдруг выкрикнула женщина. Несколько секунд она судорожно рвалась, стараясь сбросить маску.

– Держите!

Пелагея Ивановна схватила ее за руки, уложила и прижала к груди. Еще несколько раз выкрикнула женщина, отворачивая от маски лицо. Но реже... реже... Глухо забормотала:

– Га-а... Пусти!.. А!..

Потом все слабее, слабее. В белой комнате наступила тишина. Прозрачные капли все падали и падали на белую марлю.

– Пелагея Ивановна, пульс?

– Хорош.

Пелагея Ивановна приподняла руку женщины и выпустила; та безжизненно, как плоть, шлепнулась о простыни. Фельдшер, сдвинув маску, посмотрел зрачок.

– Спит.

.....

Лужа крови. Мои руки по локоть в крови. Кровяные пятна на простынях. Красные сгустки и комки марли. А Пелагея Ивановна уже встряхивает младенца и похлопывает его. Акушерка гремит ведрами, наливая в тазы воду. Младенца погружают то в холодную, то в горячую воду. Он молчит, и голова его безжизненно, словно на ниточке, болтается из стороны в сторону. Но вот вдруг не то скрип, не то вздох, а за ним слабый, хриплый первый крик.

– Жив... жив... – бормочет Пелагея Ивановна и укладывает младенца на подушку.

И мать жива. Ничего страшного, по счастью, не случилось. Вот я сам ощупываю пульс. Да, он ровный и четкий, и фельдшер тихонько трясет женщину за плечо и говорит:

– Ну, тетя, тетя, просыпайся.

Отбрасывают в сторону окровавленные простыни и торпливо закрывают мать чистой, и фельдшер с Аксиньей уносят ее в палату. Спеленутый младенец уезжает на подушке. Сморщенное коричневое личико глядит из белого ободка, и не прерывается тоненький плаксивый писк.

Вода бежит из кранов умывальников. Анна Николаевна жадно затягивается папироской, щурится от дыма, кашляет.

– А вы, доктор, хорошо сделали поворот, уверенно так.

Я усердно тру щеткой руки, искоса взглядываю на нее: не смеется ли? Но на лице у нее искреннее выражение горделивого удовольствия. Сердце мое полно радостью. Я гляжу на кровавый и белый беспорядок кругом, на красную воду в тазу и чувствую себя победителем. Но в глубине где-то шевелится червяк сомнения.

– Посмотрим еще, что будет дальше, – говорю я.

Анна Николаевна удивленно вскидывает на меня глаза.

– Что же может быть? Все благополучно.

Я неопределенно бормочу что-то в ответ. Мне, собственно говоря, хочется сказать вот что: все ли там цело у матери, не повредил ли я ей во время операции... Это-то смутно

терзает мое сердце. Но мои знания в акушерстве так неясны, так книжно отрывочны. Разрыв? А в чем он должен выразиться? И когда он даст знать о себе – сейчас же или, быть может, позже?.. Нет, уж лучше не заговаривать на эту тему.

– Ну, мало ли что, – говорю я, – не исключена возможность заражения, – повторяю я первую попавшуюся фразу из какого-то учебника.

– Ах, э-это, – спокойно тянет Анна Николаевна, – ну, даст бог, ничего не будет. Да и откуда? Все стерильно, чисто.

\* \* \*

Было начало второго, когда я вернулся к себе. На столе в кабинете, в пятне света от лампы, мирно лежал раскрытый на странице «Опасности поворота» Додерляйн. С час еще, глотая простывший чай, я сидел над ним, перелистывая страницы. И тут произошла интересная вещь: все прежние темные места сделались совершенно понятными, словно налились светом, и здесь, при свете лампы, ночью, в глуши, я понял, что значит настоящее знание.

«Большой опыт можно приобрести в деревне, – думал я, засыпая, – но только нужно читать, читать, побольше... читать...»

# Стальное горло

Итак, я остался один. Вокруг меня – ноябрьская тьма с вертящимся снегом, дом завалило, в трубах завывало. Все двадцать четыре года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что выюга воет только в романах. Оказалось: она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны, лампа под синим абажуром отражалась в черном окне, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке от меня. Мечтал об уездном городе – он находился в сорока верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, четыре врача, с ними можно было посоветоваться, во всяком случае, не так страшно. Но убежать не было никакой возможности, да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете...

«...Ну, а если привезут женщину и у нее неправильные роды? Или, предположим, больного, а у него ущемленная грыжа? Что я буду делать? Посоветуйте, будьте добры. Сорок восемь дней тому назад я кончил факультет с отличием, но отличие само по себе, а грыжа сама по себе. Один раз я видел, как профессор делал операцию ущемленной грыжи. Он делал, а я сидел в амфитеатре. И только...»

Холодный пот неоднократно стекал у меня вдоль позвоночного столба при мысли о грыже. Каждый вечер я сидел в

одной и той же позе, напившись чаю: под левой рукой у меня лежали все руководства по оперативному акушерству, сверху маленький Додерляйн. А справа десять различных томов по оперативной хирургии, с рисунками. Я кряхтел, курил, пил черный холодный чай...

И вот я заснул; отлично помню эту ночь – 29 ноября, я проснулся от грохота в двери. Минут пять спустя я, надевая брюки, не сводил молящих глаз с божественных книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во дворе: уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем грыжа, чем поперечное положение младенца: привезли ко мне в Никольский пункт-больницу в одиннадцать часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала:

– Слабая девочка, умирает... Пожалуйста, доктор, в больницу...

Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена, и весь состав моих помощников ждал меня уже одетый и в халатах. Это были: фельдшер Демьян Лукич, молодой еще, но очень способный человек, и две опытных акушерки – Анна Николаевна и Пелагея Ивановна. Я же был всего лишь двадцатичетырехлетним врачом, два месяца назад выпущенным и назначенным заведовать Никольской больницей.

Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не



стоял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел девочку лет трех. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз, забыл все решительно из-за красоты девочки. С чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей – волосы сами от природы выются в крупные кольца почти спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз, и я понял, что это страх, – ей нечем было дышать. «Она умрет через час», – подумал я совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось...

Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чем дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно, и, главное, одновременно с акушерками, – они-то были опытные: «У девочки дифтерийный круп, горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо...»

– Сколько дней девочка больна? – спросил я среди настоявшегося молчания моего персонала.

– Пятый день, пятый, – сказала мать и сухими глазами глубоко посмотрела на меня.

– Дифтерийный круп, – сквозь зубы сказал я фельдшеру,

а матери сказал: – Ты о чем же думала? О чем думала?

И в это время раздался сзади меня плаксивый голос:

– Пятый, батюшка, пятый!

Я обернулся и увидел бесшумную, круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если б бабок этих вообще на свете не было», – подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал:

– Ты, бабка, замолчи, мешаешь. – Матери же повторил: – О чем ты думала? Пять дней? А?

Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мною на колени.

– Дай ей капель, – сказала она и стукнулась лбом в пол, – удавлюсь я, если она помрет.

– Встань сию же минуточку, – ответил я, – а то я с тобой и разговаривать не стану.

Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девчонку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал:

– Так они все делают. На-род. – Усы у него при этом скривились набок.

– Что ж, значит, помрет она? – глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, спросила мать.

– Помрет, – негромко и твердо сказал я.

Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом:

– Дай ей, помоги! Капель дай!

Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд.

– Каких же я капель дам? Посоветуй. Девочка задыхается, горло ей уже забило. Ты пять дней морила девчонку в пятнадцати верстах от меня. А теперь что прикажешь делать?

– Тебе лучше знать, батюшка, – заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом, и я ее сразу возненавидел.

– Замолчи! – сказал ей. И, обратившись к фельдшеру, приказал взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее не выходил уже голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы-молнии девочке в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочущее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо, но я почему-то не испугался за глаза, занятый своей мыслью.

– Вот что, – сказал я, удивляясь собственному спокойствию, – дело такое. Поздно. Девочка умирает. И ничто ей не поможет, кроме одного – операции.

И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. «А если они согласятся?» – мелькнула у меня мысль.

– Как это? – спросила мать.

– Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить, дать девочке возможность дышать, тогда, может

быть, спасем ее, — объяснил я.

Мать посмотрела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслонила руками, а бабка снова забубнила:

— Что ты! Не давай резать! Что ты? Горло-то?!

— Уйди, бабка! — с ненавистью сказал я ей. — Камфару впрысните! — приказал я фельдшеру.

Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы ей объяснили, что это не страшно.

— Может, это ей поможет? — спросила мать.

— Нисколько не поможет.

Тогда мать зарыдала.

— Перестань, — промолвил я. Вынул часы и добавил: — Пять минут даю думать. Если не согласитесь, после пяти минут сам уже не возьмусь делать.

— Не согласна! — резко сказала мать.

— Нет нашего согласия! — добавила бабка.

— Ну, как хотите, — глухо добавил я и подумал: «Ну, вот и все! Мне легче. Я сказал, предложил, вон у акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спасен». И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил:

— Что вы, с ума сошли? Как это так не согласны? Губите девочку. Соглашайтесь. Как вам не жаль?

— Нет! — снова крикнула мать.

Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку». А говорил иное:

— Ну, скорей, скорей соглашайтесь! Соглашайтесь! Ведь у

нее уже ногти синеют.

– Нет! Нет!

– Ну, что же, уведите их в палату, пусть там сидят.

Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщин и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал.

– Соглашаются!

Внутри у меня все окаменело, но выговорил я ясно:

– Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки, зонд!

Через минуту я перебежал двор, где, как бес, летала и шаркала метель, прибежал к себе и, считая минуты, ухватился за книгу, перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто: горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал, слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. «Э, теперь уж поздно», – подумал я, взглянул с тоской на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное, страшное дело, и вернулся, не заметив вьюги, в больницу.

В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос заныл:

– Батюшка, как же так, горло девчонке резать? Да разве же это мыслимо? Она, глупая баба, согласилась. А моего согласия нету, нету. Каплями согласна лечить, а горло резать не дам.

– Бабку эту вон! – закричал я и в запальчивости добавил: – Ты сама глупая баба! Сама! А та именно умная! И вообще

никто тебя не спрашивает! Вон ее!

Акушерка цепко обняла бабу и вытолкнула ее из палаты.  
– Готово! – вдруг сказал фельдшер.

Мы вошли в малую операционную, и я, как сквозь завесу, увидал блестящие инструменты, ослепительную лампу, клеенку... В последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услышал лишь хриплый голос, который говорил: «Мужа нет. Он в городе. Придет, узнает, что я наделала, – убьет меня!»

– Убьет, – повторила бабу, глядя на меня в ужасе.

– В операционную их не пускать! – приказал я.

Мы остались одни в операционной. Персонал, я и Лидка – девочка. Она, голенькая, сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ее вымыли, смазали йодом, и я взял нож, при этом подумал: «Что я делаю?» Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила меж раздавленной кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь и мгновенно залила всю рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я пинцетами стал зажимать края раны, но ничего не выходило. Мне

стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул пинцет наобум, куда-то близ раны, защелкнул его, и кровь тотчас же перестала течь. Рану мы отсосали комками марли, она предстала передо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты две-три, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти. «Конец, – подумал я, – зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию, и Лидка спокойно умерла бы у меня в палате, а теперь она умрет с разорванным горлом, и никогда, ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей...» Акушерка молча вытерла мой лоб. «Положить нож, сказать: не знаю, что дальше делать», – так подумал я, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло.

– Крючки! – сипло бросил я.

Фельдшер подал их. Я вонзил один крючок с одной стороны, другой – с другой, и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно: сероватые колечки горла. Острый нож я вколол в горло – и обмер. Горло поднялось из раны, фельдшер, как мелькнуло у меня в голове, сошел с ума: он

стал вдруг выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чем дело: фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло. «Всё против меня, судьба, – подумал я, – теперь уж, несомненно, зарезали мы Лидку, – и мысленно строго добавил: – Только дойду домой – и застрелюсь...» Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок, причем сказала, стиснув зубы:

– Продолжайте, доктор...

Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но Лидка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это нужно было. Я глубоко вздохнул и остановился: больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощенья, покаяться в своем легкомыслии, в том, что я поступил на медицинский факультет. Стояло молчание. Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать, как вдруг Лидка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло; потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный, тупо и в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать.

Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушерок, и одна из них мне сказала:



– Ну и блестяще же вы сделали, доктор, операцию.

Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачно, исподлобья глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеяло свежестью. Лидку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были как у дикого зверя. Она спросила у меня:

– Что?

Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине, я только тогда сообразил, что было бы, если бы Лидка умерла на столе. Но голосом очень спокойным я ей ответил:

– Будь поспокойнее. Жива. Будет, надеюсь, жива. Только, пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить, так не бойтесь.

И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал Лидке впрыснуть камфару и по очереди дежурить возле нее. Затем ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете, лежал Додерляйн, валялись книги. Я подошел к дивану одетый, лег на него и сейчас же перестал видеть что бы то ни было; заснул и даже снов не видел.

Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал, и было уже кое-что страшнее Лидкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличивался с каждым днем. И как-то, в новом уже году, вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку закутанную, как тумбочка, девочку. Жен-

щина сияла глазами. Я всмотрелся – узнал.

– А, Лидка! Ну, что?

– Да хорошо все.

Лидке распутали горло. Она дичилась и боялась, но все же мне удалось поднять ей подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швов.

– Все в порядке, – сказал я, – можете больше не приезжать.

– Благодарю вас, доктор, спасибо, – сказала мать, а Лидке велела: – Скажи дяденьке спасибо!

Но Лидка не желала мне ничего говорить.

Больше я никогда в жизни ее не видел. Я стал забывать ее. А прием мой все возрастал. Вот настал день, когда я принял сто десять человек. Мы начали в девять часов утра и кончили в восемь часов вечера. Я, пошатываясь, снимал халат. Старшая акушерка-фельдшерица сказала мне:

– За такой прием благодарите трахеотомию. Вы знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной Лидке вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специально ездят в эту деревню глядеть на нее. Вот вам и слава, доктор, поздравляю.

– Так и живет со стальным? – осведомился я.

– Так и живет. Ну, а вы, доктор, молодец. И хладнокровно как делаете, прелесть!

– М-да... Я, знаете ли, никогда не волнуюсь, – сказал я неизвестно зачем, но почувствовал, что от усталости даже

устыдиться не могу, только глаза отвел в сторону. Попрощался и ушел к себе. Крупный снег шел, все застилало, фонарь горел, и дом мой был одинок, спокоен и важен. И я, когда шел, хотел одного – спать.

# Вьюга

*То, как зверь, она завоет,  
То заплачет, как дитя.*

Вся эта история началась с того, что, по словам всезнающей Аксиньи, конторщик Пальчиков, проживающий в Шалометьеве, влюбился в дочь агронома. Любовь была пламенная, иссушающая беднягино сердце. Он съездил в уездный город Грачевку и заказал себе костюм. Вышел этот костюм ослепительным, и очень возможно, что серые полоски на конторских штанах решили судьбу несчастного человека. Дочка агронома согласилась стать его женой.

Я же – врач N-ской больницы, участка, такой-то губернии, после того как отнял ногу у девушки, попавшей в мялку для льна, прославился настолько, что под тяжестью своей славы чуть не погиб. Ко мне на прием по накатанному санному пути стали ездить сто человек крестьян в день. Я перестал обещать. Арифметика – жестокая наука. Предположим, что на каждого из ста моих пациентов я тратил только по пять минут... пять! Пятьсот минут – восемь часов двадцать минут. Подряд, заметьте. И, кроме того, у меня было стационарное отделение на тридцать человек. И, кроме того, я ведь делал операции.

Одним словом, возвращаясь из больницы в девять часов вечера, я не хотел ни есть, ни пить, ни спать. Ничего не хотел, кроме того, чтобы никто не приехал звать меня на роды. И в течение двух недель по санному пути меня ночью увозили раз пять.

Темная влажность появилась у меня в глазах, а над переносицей легла вертикальная складка, как червяк. Ночью я видел в зыбком тумане неудачные операции, обнаженные ребра, а руки свои в человеческой крови и просыпался, липкий и прохладный, несмотря на жаркую печку-голландку.

На обходе я шел стремительной поступью, за мною мело фельдшера, фельдшерицу и двух сиделок. Останавливаясь у постели, на которой, тая в жару и жалобно дыша, болел человек, я выжимал из своего мозга все, что в нем было. Пальцы мои шарили по сухой, пылающей коже, я смотрел на зрачки, постукивал по ребрам, слушал, как таинственно бьет в глубине сердце, и нес в себе одну мысль – как его спасти? И этого – спасти. И этого! Всех.

Шел бой. Каждый день он начинался утром при бледном свете снега, а кончался при желтом мигании пылкой лампы «молнии».

«Чем это кончится, мне интересно было бы знать? – говорил я сам себе ночью. – Ведь этак будут ездить на санях и в январе, и в феврале, и в марте».

Я написал в Грачевку и вежливо напомнил о том, что на N-ском участке полагается и второй врач.

Письмо на дровнях уехало по ровному снежному океану за сорок верст. Через три дня пришел ответ: писали, что, конечно, конечно... Обязательно... но только не сейчас... никто пока не едет...

Заключали письмо некоторые приятные отзывы о моей работе и пожелания дальнейших успехов.

Окрыленный ими, я стал тампонировать, впрыскивать дифтерийную сыворотку, вскрывать чудовищных размеров гнойники, накладывать гипсовые повязки...

Во вторник приехало не сто, а сто одиннадцать человек. Прием я кончил в девять часов вечера. Заснул я, стараясь угадать, сколько будет завтра – в среду? Мне приснилось, что приехало девятьсот человек.

Утро заглянуло в окошко спальни как-то особенно бело. Я открыл глаза, не понимая, что меня разбудило. Потом сообразил – стук.

– Доктор, – узнал голос акушерки Пелагеи Ивановны, – вы проснулись?

– Угу, – ответил я диким голосом спросонья.

– Я пришла вам сказать, чтоб вы не спешили в больницу. Два человека всего приехали.

– Вы – что? Шутите?

– Честное слово. Выюга, доктор, выюга, – повторила она радостно в замочную скважину. – А у этих зубы кариозные. Демьян Лукич вырвет.

– Да ну... – Я даже с постели соскочил неизвестно почему.

Замечательный выдался денек. Побывав на обходе, я целый день ходил по своим апартаментам (квартира врачу была отведена в шесть комнат, и почему-то двухэтажная – три комнаты вверху, а кухня и три комнаты внизу), свистел из опер, курил, барабанил в окна... А за окнами творилось что-то, мною еще никогда не виданное. Неба не было, земли тоже. Вертело и крутило белым и косо и криво, вдоль и поперек, словно черт зубным порошком баловался.

В полдень отдан был мною Аксинье – исполняющей обязанности кухарки и уборщицы при докторской квартире приказ: в трех ведрах и в котле вскипятить воды. Я месяц не мылся.

Мною с Аксиньей было из кладовки извлечено невероятных размеров корыто. Его установили на полу в кухне (о ванне, конечно, и разговора в N-ске быть не могло. Были ванны только в самой больнице – и те испорченные).

Около двух часов дня вертящаяся сетка за окном значительно поредела, а я сидел в корыте голый и с намыленной головой.

– Эт-то я понимаю... – сладостно бормотал я, выплескивая себе на спину жгучую воду, – эт-то я понимаю. А потом мы, знаете ли, пообедаем, а потом заснем. А если я выплюсь, то пусть завтра хоть полтора человека приезжает. Какие новости, Аксинья?

Аксинья сидела за дверью в ожидании, пока кончится банная операция.

– Конторщик в Шалометьевом имении женится, – отвечала Аксинья.

– Да ну! Согласилась?

– Ей-богу! Влюбле-ен... – пела Аксинья, погромыхивая посудой.

– Невеста-то красивая?

– Первая красавица! Блондинка, тоненькая...

– Скажи пожалуйста!..

И в это время грохнуло в дверь. Я хмуро облил себя водой и стал прислушиваться.

– Доктор-то купается... – выпевала Аксинья.

– Бур... бур... – бурчал бас.

– Записка вам, доктор, – пискнула Аксинья

– Протяни в дверь.

Я вылез из корыта, пожимаясь и негодуя на судьбу, и взял из рук Аксиньи сыроватый конвертик.

– Ну, дудки. Я не поеду из корыта. Я ведь тоже человек, – не очень уверенно сказал я себе и в корыте распечатал записку.

«Уважаемый коллега (большой восклицательный знак). Умол (зачеркнуто) прошу убедительно приехать срочно. У женщины после удара головой кровотечение из полост (зачеркнуто) из носа и рта. Без сознания. Справиться не могу. Убедительно прошу. Лошади отличные. Пульс плох. Камфара есть. Доктор (подпись неразборчива)».



«Мне в жизни не везет», – тоскливо подумал я, глядя на жаркие дрова в печке.

– Мужчина записку привез?

– Мужчина.

– Сюда пусть войдет.

Он вошел и показался мне древним римлянином вследствие блистательной каски, надетой поверх ушастой шапочки. Волчья шуба облекала его, и струйка холода ударила в меня.

– Почему вы в каске? – спросил я, прикрывая свое недомытое тело простыней.

– Пожарный я из Шалометьева. Там у нас пожарная команда... – ответил римлянин.

– Это какой доктор пишет?

– В гости к нашему агроному приехал. Молодой врач. Несчастье у нас, вот уж несчастье...

– Какая женщина?

– Невеста конторщикова.

Аксинья за дверью охнула.

– Что случилось? (Слышно было, как тело Аксиньи прилипло к двери.)

– Вчера помолвка была, а после помолвки-то конторщик покатаь ее захотел в саночках. Рысачка запряг, усадил ее, да в ворота. А рысачок-то с места как взял, невесту-то мотнуло да лбом об косяк. Так она и вылетела. Такое несчастье, что выразить невозможно... За конторщиком ходят, чтоб не

удавился. Обезумел.

– Купаюсь я, – жалобно сказал я, – ее сюда-то чего же не привезли? – И при этом я облил водой голову и мыло ушло в корыто.

– Немыслимо, уважаемый гражданин доктор, – прочувственно сказал пожарный и руки молитвенно сложил, – никакой возможности. Помрет девушка.

– Как же мы поедем-то? Выюга!

– Утихло. Что вы-с. Совершенно утихло. Лошади резвые, гуськом. В час долетим...

Я кротко простонал и вылез из корыта. Два ведра вылил на себя с остервенением. Потом, сидя на корточках перед пастью печки, голову засовывал в нее, чтобы хоть немного просушить.

«Воспаление легких у меня, конечно, получится. Крупозное, после такой поездки. И, главное, что я с нею буду делать? Этот врач, уже по записке видно, еще менее, чем я, опытен. Я ничего не знаю, только практически за полгода нахватался, а он и того менее. Видно, только что из университета. А меня принимает за опытного».

Размышляя таким образом, я и не заметил, как оделся. Одевание было непростое: брюки и блуза, валенки, сверх блузы кожаная куртка, потом пальто, а сверху баранья шуба, шапка, сумка, в ней кофеин, камфара, морфий, адреналин, торзионные пинцеты, стерильный материал, шприц, зонд, браунинг, папиросы, спички, часы, стетоскоп.

Показалось вовсе не страшно, хоть и темнело, уже день таял, когда мы выехали за околицу. Мело как будто полегче. Косо, в одном направлении, в правую щеку. Пожарный горой заслонял от меня круп первой лошади. Взяли лошади действительно бодро, вытянулись, и саночки пошли метать по ухабам. Я завалился в них, сразу согрелся, подумал о крупном воспалении, о том, что у девушки, может быть, треснула кость черепа изнутри, осколок в мозг вонзился...

– Пожарные лошади? – спросил я сквозь бараний воротник.

– Угу... гу... – пробурчал возница, не оборачиваясь.

– А доктор что ей делал?

– Да он... гу, гу... он, вишь ты, на венерические болезни выучился... угу... гу...

– Гу... гу... – загремела в перелеске выюга, потом свистнула сбоку, сыпнула... Меня начало качать, качало, качало... пока я не оказался в Сандуновских банях в Москве. И прямо в шубе, в раздевальне, и испарина покрыла меня. Затем загорелся факел, напустили холоду, я открыл глаза, увидел, что сияет кровавый шлем, подумал, что пожар... затем очнулся и понял, что меня привезли. Я у порога белого здания с колоннами, видимо, времен Николая I. Глубокая тьма кругом, а встретили меня пожарные, и пламя танцует у них над головами. Тут же я извлек из щели шубы часы, увидел – пять. Ехали мы, стало быть, не час, а два с половиной.

– Лошадей мне сейчас же обратно дайте, – сказал я.

– Слушаю, – ответил возница.

Полусонный и мокрый, как в компрессе, под кожаной курткой, я вошел в сени. Сбоку ударил свет лампы, полоса легла на крашенный пол. И тут выбежал светловолосый юный человек с затравленными глазами и в брюках со свежезаутюженной складкой. Белый галстук с черными горошинами сбился у него на сторону, манишка выскочила горбом, но пиджак был с иголочки, новый, как бы с металлическими складками.

Человек взмахнул руками, вцепился в мою шубу, потряс меня, прильнул и стал тихонько выкрикивать:

– Голубчик мой... доктор... скорее... умирает она. Я убийца. – Он глянул куда-то вбок, сурово и черно раскрыл глаза, кому-то сказал: – Убийца я, вот что.

Потом зарыдал, ухватился за жиденькие волосы, рванул, и я увидел, что он по-настоящему рвет пряди, наматывая на пальцы.

– Перестаньте, – сказал я ему и стиснул руку.

Кто-то повлек его. Выбежали какие-то женщины.

Шубу кто-то с меня снял, повели по праздничным половичкам и привели к белой кровати. Навстречу мне поднялся со стула молоденький врач. Глаза его были замучены и растерянны. На миг в них мелькнуло удивление, что я так же молод, как и он сам. Вообще мы были похожи на два портрета одного и того же лица, да и одного года. Но потом он обрадовался мне до того, что даже захлебнулся.

– Как я рад... коллега... вот... видите ли, пульс падает. Я, собственно, венеролог. Страшно рад, что вы приехали...

На клоке марли на столе лежал шприц и несколько ампул с желтым маслом. Плач конторщика донесся из-за двери, дверь прикрыли, фигура женщины в белом выросла у меня за плечами. В спальне был полумрак, лампу сбоку занавесили зеленым клоком. В зеленоватой тени лежало на подушке лицо бумажного цвета. Светлые волосы прядями обвисли и разметались. Нос заострился, и ноздри были забиты розовой от крови ватой.

– Пульс... – шепнул мне врач.

Я взял безжизненную руку, привычным уже жестом положил пальцы и вздрогнул. Под пальцами задрожало мелко, часто, потом стало срываться, тянуться в нитку. У меня похолодело привычно под ложечкой, как всегда, когда я в упор видел смерть. Я ее ненавижу. Я успел обломать конец ампулы и насосать в свой шприц жирное масло. Но вколол его уже машинально, протолкнул под кожу девичьей руки напрасно.

Нижняя челюсть девушки задергалась, она словно давилась, потом обвисла, тело напряглось под одеялом, как бы замерло, потом ослабело. И последняя нитка пропала у меня под пальцами.

– Умерла, – сказал я на ухо врачу.

Белая фигура с седыми волосами повалилась на ровное одеяло, припала и затряслась.

– Тише, тише, – сказал я на ухо этой женщине в белом, а

врач страдальчески покосился на дверь.

– Он меня замучил, – очень тихо сказал врач.

Мы с ним сделали так: плачущую мать оставили в спальне, никому ничего не сказали, увели конторщика в дальнюю комнату.

Там я ему сказал:

– Если вы не дадите себе впрыснуть лекарство, мы ничего не можем делать. Вы нас мучаете, работать мешаете!

Тогда он согласился; тихо плача, снял пиджак, мы откатали рукав его праздничной жениховской сорочки и впрыснули ему морфий. Врач ушел к умершей, якобы ей помогать, а я задержался возле конторщика. Морфий помог быстрее, чем я ожидал. Конторщик через четверть часа, все тише и бессвязнее жалуясь и плача, стал дремать, потом заплаканное лицо уложил на руки и заснул. Возни, плача, шуршания и заглушенных воплей он не слышал.

– Послушайте, коллега, ехать опасно. Вы можете заблудиться, – говорил мне врач шепотом в передней. – Оставайтесь, переночуйте...

– Нет, не могу. Во что бы то ни стало уеду. Мне обещали, что меня сейчас же обратно доставят.

– Да они-то доставят, только смотрите...

– У меня трое тифозных таких, что бросить нельзя. Я их ночью должен видеть.

– Ну, смотрите...

Он разбавил спирт водой, дал мне выпить, и я тут же в

передней съел кусок ветчины. В животе потеплело, и тоска на сердце немного съежилась. Я в последний раз пришел в спальню, поглядел на мертвую, зашел к конторщику, оставил ампулу морфия врачу и, закутанный, ушел на крыльцо.

Там свистело, лошади понурились, их секло снегом. Факел метался.

– Дорогу-то вы знаете? – спросил я, кутая рот.

– Дорогу-то знаем, – очень печально ответил возница (шлема на нем уже не было), – а остаться бы вам переночевать...

Даже по ушам его шапки было видно, что он до смерти не хочет ехать.

– Надо остаться, – прибавил и второй, держащий разъяренный факел, – в поле нехорошо-с.

– Двенадцать верст... – угрюмо забурчал я, – доедем. У меня тяжело больные... – и полез в санки.

Каюсь, я не добавил, что одна мысль остаться во флигеле, где беда, где я бессилен и бесполезен, казалась мне невыносимой.

Возница безнадежно плюхнулся на облучок, выровнялся, качнулся, и мы проскочили в ворота. Факел исчез, как провалился, или же потух. Однако через минуту меня заинтересовало другое. С трудом обернувшись, я увидел, что не только факела нет, но Шалометьево пропало со всеми строениями, как во сне. Меня это неприятно кольнуло.

– Однако это здорово... – не то подумал, не то забормо-

тал я. Нос на минуту высунул и опять спрятал, до того нехорошо было. Весь мир свился в клубок, и его трепало во все стороны.

Проскочила мысль – а не вернуться ли? Но я ее отогнал, завалился поглубже в сено на дно саней, как в лодку, съехался, глаза закрыл. Тотчас выплыл зеленый лоскут на лампе и белое лицо. Голову вдруг осветило: «Это перелом основания черепа... Да, да, да... Ага-га... именно так!» Загорелась уверенность, что это правильный диагноз. Осенило. Ну, а к чему? Теперь не к чему, да и раньше не к чему было. Что с ним сделаешь! Как ужасная судьба! Как нелепо и страшно жить на свете! Что теперь будет в доме агронома? Даже подумать тошно и тоскливо! Потом себя стало жаль: жизнь моя такая трудная. Люди сейчас спят, печки натопили, а я опять и вымыться не мог. Несет меня выюга, как листок. Ну вот, я домой приеду, а меня, чего доброго, опять повезут куда-нибудь. Так и буду летать по выюге. Я один, а больных-то тысячи... Вот воспаление легких схвачу и сам помру здесь... Так, разжалобив самого себя, я и провалился в тьму, но сколько времени в ней пробыл, не знаю. Ни в какие бани я не попал, а стало мне холодно. И все холоднее и холоднее.

Когда я открыл глаза, увидел черную спину, а потом уже сообразил, что мы не едем, а стоим.

– Приехали? – спросил я, мутно тараща глаза.

Черный возница тоскливо шевельнулся, вдруг слез, мне показалось, что его вертит во все стороны... и заговорил без



всякой почтительности:

– Приехали... Людей-то нужно было послушать... Ведь что же это такое! И себя погубим и лошадей...

– Неужели дорогу потеряли? – У меня похолодела спина.

– Какая тут дорога, – отозвался возница расстроенным голосом, – нам теперь весь белый свет дорога. Пропали ни за грош... Четыре часа едем, а куда... Ведь это что делается...

Четыре часа. Я стал копошиться, нащупал часы, вынул спички. Зачем? Это было ни к чему, ни одна спичка не дала вспышки. Чиркнешь, сверкнет – и мгновенно огонь слизнет.

– Говорю, часа четыре, – похоронно молвил возница, – что теперь делать?

– Где же мы теперь?

Вопрос был настолько глуп, что возница не счел нужным на него ответить. Он поворачивался в разные стороны, но мне временами казалось, что он стоит неподвижно, а меня в санях вертит. Я выкарабкался и сразу узнал, что снегу мне до колена у полоза. Задняя лошадь завязла по брюхо в сугробе. Грива ее свисала, как у простоволосой женщины.

– Сами стали?

– Сами. Замучились животные...

Я вдруг вспомнил кой-какие рассказы и почему-то почувствовал злобу на Льва Толстого.

«Ему хорошо было в Ясной Поляне, – думал я, – его небось не возили к умирающим...»

Пожарного и меня стало жаль. Потом я опять пережил

вспышку дикого страха. Но задавил его в груди.

– Это – малодушие... – пробормотал я сквозь зубы.

И бурная энергия возникла во мне.

– Вот что, дядя, – заговорил я, чувствуя, что у меня стынут зубы, – унынию тут предаваться нельзя, а то мы действительно пропадем к чертям. Они немножко постояли, отдохнули, надо дальше двигаться. Вы идите, берите переднюю лошадь под уздцы, а я буду править. Надо вылезать, а то нас заметет.

Уши шапки выглядели отчаянно, но все же возница полез вперед. Ковыляя и проваливаясь, он добрался до первой лошади. Наш выезд показался мне бесконечно длинным. Фигуру возницы размыло в глазах, в глаза мне мело сухим выюжным снегом.

– Но-о, – застонал возница.

– Но! Но! – закричал я, захлопал вожжами.

Лошади тронулись помаленьку, пошли месить. Сани качало, как на волне. Возница то вырастал, то уменьшался, выбирался вперед.

Четверть часа приблизительно мы двигались так, пока наконец я не почувствовал, что сани закрипели как будто ровней. Радость хлынула в меня, когда я увидел, как замелькали задние копыта лошади.

– Мелко, дорога! – закричал я.

– Го... го... – отозвался возница. Он приковылял ко мне и сразу вырос.

– Кажись, дорога, – радостно, даже с трелью в голос ото-

звался пожарный. — Лишь бы опять не сбиться... Авось...

Мы поменялись местами. Лошади пошли бодрее. Выюга точно сжималась, стала ослабевать, как мне показалось. Но вверху и по сторонам ничего не было, кроме мути. Я уж не надеялся приехать именно в больницу. Мне хотелось приехать куда-нибудь. Ведь ведет же дорога к жилью.

Лошади вдруг дернули и заработали ногами оживленнее. Я обрадовался, не знал еще причины этого.

— Жилье, может, почувствовали? — спросил я.

Возница мне не ответил. Я приподнялся в санях, стал всматриваться. Станный звук, тоскливый и злобный, возник где-то во мгле, но быстро потух. Почему-то неприятно мне стало и вспомнился конторщик и как он тонко скулил, положив голову на руки. По правой руке я вдруг различил темную точку, она выросла в черную кошку, потом еще подросла и приблизилась. Пожарный вдруг обернулся ко мне, причем я увидел, что челюсть у него прыгает, и спросил:

— Видели, гражданин доктор?..

Одна лошадь метнулась вправо, другая влево, пожарный навалился на секунду мне на колени, охнул, выправился, стал опираться, рвать вожжи. Лошади всхрапнули и понесли. Они взметывали комями снег, швыряли его, шли неровно, дрожали.

И у меня прошла дрожь несколько раз по телу. Оправясь, я залез за пазуху, вынул браунинг и проклял себя за то, что забыл дома вторую обойму. Нет, если уж я не остался ноче-

вать, то факел почему я не взял с собой?! Мысленно я увидел короткое сообщение в газете о себе и злосчастном пожаре.

Кошка выросла в собаку и покатила невдалеке от саней. Я обернулся и увидел совсем близко за санями вторую четвероногую тварь. Могу поклясться, что у нее были острые уши и шла она за санями легко, как по паркету. Что-то грозное и наглое было в ее стремлении. «Стая или их только две?» – думалось мне, и при слове «стая» варом облило меня под шубой и пальцы на ногах перестали стыть.

– Держись крепче и лошадей придержи, я сейчас выстрелю, – выговорил я голосом, но не своим, а неизвестным мне.

Возница только охнул в ответ и голову втянул в плечи. Мне сверкнуло в глаза и оглушительно ударило. Потом второй раз и третий раз. Не помню, сколько минут трепало меня на дне саней. Я слышал дикий, визгливый храп лошадей, сжимал браунинг, головой ударился обо что-то, старался вынырнуть из сена и в смертельном страхе думал, что у меня на груди вдруг окажется громадное жилистое тело. Видел уже мысленно свои рваные кишки...

В это время возница завыл:

– Ого... го... вон он... вон... господи, выноси, выноси...

Я наконец справился с тяжелой овчиной, выпростал руки, поднялся. Ни сзади, ни с боков не было черных зверей. Мело очень редко и прилично, и в редкой пелене мерцал оча-

ровательнейший глаз, который я бы узнал из тысячи, который узнаю и теперь, – мерцал фонарь моей больницы. Темное громоздилось сзади него. «Куда красивее дворца...» – помыслил я и вдруг в экстазе еще два раза выпустил пули из браунинга назад, туда, где пропали волки.

\* \* \*

Пожарный стоял посредине лестницы, ведущей из нижнего отдела замечательной врачебной квартиры, я – наверху этой лестницы, Акси́нья в тулупе – внизу.

– Озолотите меня, – заговорил возница, – чтоб я в другой раз... – Он не договорил, залпом выпил разведенный спирт и крикнул страшно, обернулся к Акси́нье и прибавил, растопырив руки, сколько позволяло его устройство: – Во величиной...

– Померла? Не отстояли? – спросила Акси́нья у меня.

– Померла, – ответил я равнодушно.

Через четверть часа стихло. Внизу потух свет. Я остался наверху один. Почему-то судорожно усмехнулся, расстегнул пуговицы на блузе, потом их застегнул, пошел к книжной полке, вынул том хирургии, хотел посмотреть что-то о переломах основания черепа, бросил книгу.

Когда разделся и влез под одеяло, дрожь поколотила меня с полминуты, затем отпустила, и тепло пошло по всему телу.

– Озолотите меня, – задремывая, пробурчал я, – но боль-

ше я не по...

– Поедешь... ан поедешь... – насмешливо засвистала вьюга. Она с громом проехала по крыше. Потом пропела в трубе, вылетела из нее, прошуршала за окном, пропала.

– Поедете... по-е-де-те... – стучали часы, но глуше, глуше.

И ничего. Тишина. Сон.

## Тьма египетская

Где же весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы? Люди? Небо? За окошками нет ничего! Тьма...

Мы отрезаны от людей. Первые керосиновые фонари от нас в девяти верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик, издыхает от метели. Пройдет в полночь с воем скорый в Москву и даже не остановится – не нужна ему забытая станция, погребенная в буране. Разве что занесет пути.

Первые электрические фонари в сорока верстах, в уездном городе. Там сладостная жизнь. Кинематограф есть, магазины. В то время как воет и валит снег на полях, на экране, возможно, плывет тростник, качаются пальмы, мигает тропический остров...

Мы же одни.

– Тьма египетская, – заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору.

Выражается он торжественно, но очень метко. Именно – египетская.

– Прошу еще по рюмочке, – пригласил я. (Ах, не осуждайте! Ведь врач, фельдшер, две акушерки, ведь мы тоже люди! Мы не видим целыми месяцами никого, кроме сотен больных. Мы работаем, мы погребены в снегу. Неужели же нель-

зя нам выпить по две рюмки разведенного спирту по рецепту и закусить уездными шпротами в день рождения врача?)

– За ваше здоровье, доктор! – прочувственно сказал Демьян Лукич.

– Желаем вам привыкнуть у нас! – сказала Анна Николаевна и, чокаясь, поправила парадное свое платье с разводами.

Вторая акушерка Пелагея Ивановна чокнулась, хлебнула, сейчас же присела на корточки и кочергой пошевелила в печке. Жаркий блеск метнулся по нашим лицам, в груди тепло от водки.

– Я решительно не постигаю, – заговорил я возбужденно и глядя на тучу искр, взметнувшихся под кочергой, – что эта баба сделала с белладонной. Ведь это же кошмар!

Улыбки заиграли на лицах фельдшера и акушерок.

Дело было вот в чем. Сегодня на утреннем приеме в кабинет ко мне протиснулась румяная бабочка лет тридцати. Она поклонилась акушерскому креслу, стоящему за моей спиной, затем из-за пазухи достала широкогорлый флакон и запела льстиво:

– Спасибо вам, гражданин доктор, за капли. Уж так помогли, так помогли!.. Пожалуйста еще баночку.

Я взял у нее из рук флакон, глянул на этикетку, и в глазах у меня позеленело. На этикетке было написано размашистым почерком Демьяна Лукича. «Tinct. Belladonn...» и т. д. «16 декабря 1917 года».



Другими словами, вчера я выписал бабочке порядочную порцию белладонны, а сегодня, в день моего рождения, 17 декабря, бабочка приехала с сухим флаконом и с просьбой повторить.

– Ты... ты... все приняла вчера? – спросил я диким голосом.

– Все, батюшка милый, все, – пела бабочка сдобным голосом, – дай вам бог здоровья за эти капли... полбаночки как приехала, а полбаночки – как спать ложиться. Как рукой сняло...

Я прислонился к акушерскому креслу.

– Я тебе по сколько капель говорил? – задушенным голосом заговорил я. – Я тебе по пять капель... Что же ты делаешь, бабочка? ты ж... я ж...

– Ей-богу, приняла! – говорила баба, думая, что я не доверяю ей, будто она лечилась моей белладонной.

Я охватил руками румяные щеки и стал всматриваться в зрачки. Но зрачки были как зрачки. Довольно красивые, совершенно нормальные. Пульс у бабы был тоже прелестный. Вообще никаких признаков отравления белладонной у бабы не замечалось.

– Этого не может быть!.. – заговорил я и завопил: – Демьян Лукич!

Демьян Лукич в белом халате вынырнул из аптечного коридора.

– Полюбуйтесь, Демьян Лукич, что эта красавица сделала!

Я ничего не понимаю...

Баба испуганно вертела головой, поняв, что в чем-то она провинилась.

Демьян Лукич завладел флаконом, понюхал его, повертел в руках и строго молвил:

– Ты, милая, врешь. Ты лекарство не принимала!

– Ей-бо... – начала баба.

– Бабочка, ты нам очков не втирай, – сурово, искривив рот, говорил Демьян Лукич, – мы всё досконально понимаем. Сознawайся, кого лечила этими каплями?

Баба возвела свои нормальные зрачки на чисто выбеленный потолок и перекрестилась.

– Вот чтоб мне...

– Брось, брось... – бубнил Демьян Лукич и обратился ко мне: – Они, доктор, ведь как делают. Съездит такая артистка в больницу, выпишут ей лекарство, а она приедет в деревню и всех баб угостит...

– Что вы, гражданин фершал...

– Брось! – отрезал фельдшер. – Я у вас восьмой год. Знаю. Конечно, раскапала весь флакончик по всем дворам, – продолжал он мне.

– Еще этих капелек дайте, – умильно попросила баба.

– Ну, нет, бабочка, – ответил я и вытер пот со лба, – этими каплями больше тебе лечиться не придется. Живот полегчал?

– Прямо-таки, ну, рукой сняло!..

– Ну, вот и превосходно. Я тебе других выпишу, тоже очень хорошие.

И я выписал бабочке валерьянки, и она, разочарованная, уехала.

Вот об этом случае мы и толковали у меня в докторской квартире в день моего рождения, когда за окнами висела тяжким занавесом метельная египетская тьма.

– Это что, – говорил Демьян Лукич, деликатно прожевывая рыбку в масле, – это что: мы-то привыкли уже здесь. А вам, дорогой доктор, после университета, после столицы, весьма и весьма придется привыкать. Глушь!

– Ах, какая глушь! – как эхо, отозвалась Анна Николаевна.

Метель загудела где-то в дымоходах, прошелестела за стеной. Багровый отсвет лег на темный железный лист у печки. Благословение огню, согревающему медперсонал в глуши!

– Про вашего предшественника Леопольда Леопольдовича изволили слышать? – заговорил фельдшер и, деликатно угостив папироской Анну Николаевну, закурил сам.

– Замечательный доктор был! – восторженно молвила Пелагея Ивановна, блестящими глазами всматриваясь в благодостный огонь. Праздничный гребень с фальшивыми камушками вспыхивал и погасал у нее в черных волосах.

– Да, личность выдающаяся, – подтвердил фельдшер. – Крестьяне его прямо обожали. Подход знал к ним. На операцию ложиться к Липонтию – пожалуйста! Они его вместо

Леопольд Леопольдовича Липонтий Липонтьевичем звали. Верили ему. Ну, и разговаривать с ними умел. Нуте-с, приезжает к нему как-то приятель его, Федор Косой из Дульцева, на прием. Так и так, говорит, Липонтий Липонтьич, заложило мне грудь. Ну не продохнуть. И, кроме того, как будто в глотке царапает...

– Ларингит, – машинально молвил я, привыкнув уже за месяц бешеной гонки к деревенским молниеносным диагнозам.

– Совершенно верно. «Ну, – говорит Липонтий, – я тебе дам средство. Будешь ты здоров через два дня. Вот тебе французские горчишники. Один налепишь на спину между крыл, другой – на грудь. Подержишь десять минут, сымешь. Марш! Действуй!» Забрал тот горчишники и уехал. Через два дня появляется на приеме.

«В чем дело?» – спрашивает Липонтий.

А Косой ему:

«Да что ж, говорит, Липонтий Липонтьич, не помогают ваши горчишники ничего».

«Врешь! – отвечает Липонтий. – Не могут французские горчишники не помочь! Ты их, наверное, не ставил?»

«Как же, говорит, не ставил? И сейчас стоит...» и при этом поворачивается спиной, а у него горчишник на тулупе наклеен!..

Я расхохотался, а Пелагея Ивановна захихикала и ожесточенно застучала кочергой по полену.

– Воля ваша, это – анекдот, – сказал я, – не может быть!

– Анек-дот?! Анекдот? – вперевод воскликнули акушерки.

– Нет-с! – ожесточенно воскликнул фельдшер. – У нас, знаете ли, вся жизнь из подобных анекдотов состоит... У нас тут такие вещи...

– А сахар?! – воскликнула Анна Николаевна – Расскажите про сахар, Пелагея Ивановна!

Пелагея Ивановна прикрыла заслонку и заговорила, потупившись:

– Приезжаю я в то же Дульцево к роженице...

– Это Дульцево – знаменитое место, – не удержался фельдшер и добавил: – Виноват! Продолжайте, коллега!

– Ну, понятное дело, исследую, – продолжала коллега Пелагея Ивановна, – чувствую под пальцами в родовом канале что-то непонятное... То рассыпчатое, то кусочки... Оказывается – сахар-рафинад!

– Вот и анекдот! – торжественно заметил Демьян Лукич.

– Поз-вольте... ничего не понимаю...

– Бабка! – отозвалась Пелагея Ивановна. – Знахарка научила. Роды, говорит, у ей трудные. Младенчик не хочет выходить на божий свет. Стало быть, нужно его выманить. Вот они, значит, его на сладкое и выманивали!

– Ужас! – сказал я.

– Волосы дают жевать роженицам, – сказала Анна Николаевна.

– Зачем?!

– Шут их знает. Раза три привозили нам рожениц. Лежит и плюется бедная женщина. Весь рот полон щетины. Примета есть такая, будто роды легче пойдут...

Глаза у акушеров засверкали от воспоминаний. Мы долго у огня сидели за чаем, и я слушал как зачарованный. О том, что, когда приходится вести роженицу из деревни к нам в больницу, Пелагея Иванна свои сани всегда сзади пускает: не передумали бы по дороге, не вернули бы бабу в руки бабки. О том, как однажды роженицу при неправильном положении, чтобы младенец повернулся, кверху ногами к потолку подвешивали. О том, как бабка из Коробова, наслышавшись, что врачи делают прокол плодного пузыря, столовым ножом изрезала всю голову младенцу, так что даже такой знаменитый и ловкий человек, как Липонтий, не мог его спасти, и хорошо, что хоть мать спас. О том...

Печку давно закрыли. Гости мои ушли в свой флигель. Я видел, как некоторое время тускловатое светилося оконце у Анны Николаевны, потом погасло. Все скрылось. К метели примешался густейший декабрьский вечер, и черная завеса скрыла от меня и небо и землю.

Я расхаживал у себя по кабинету, и пол поскрипывал под ногами, и было тепло от голландки-печки, и слышно было, как грызла где-то деловито мышь.

«Ну, нет, – раздумывал я – я буду бороться с египетской тьмой ровно столько, сколько судьба продержит меня здесь

в глуши. Сахар-рафинад... Скажите пожалуйста!...»

В мечтаниях, рождавшихся при свете лампы под зеленым колпаком, возник громадный университетский город, а в нем клиника, а в клинике – громадный зал, изразцовый пол, блестящие краны, белые стерильные простыни, ассистент с остроконечной, очень мудрой, седеющей бородкой...

Стук в такие моменты всегда волнует, страшит. Я вздрогнул...

– Кто там, Аксинья? – спросил я, свешиваясь с балюстрады внутренней лестницы (квартира у врача была в двух этажах: вверху – кабинет и спальни, внизу – столовая, еще одна комната – неизвестного назначения и кухня, в которой и помещалась эта Аксинья – кухарка – и муж ее, бессменный сторож больницы).

Загремел тяжелый запор, свет лампочки заходил и закачался внизу, повеяло холодом. Потом Аксинья доложила:

– Да больной приехал...

Я, сказать по правде, обрадовался. Спать мне еще не хотелось, а от мышинной грызни и воспоминаний стало немного тоскливо, одиноко. Притом больной, значит, не женщина, значит, не самое страшное – не роды.

– Ходит он?

– Ходит, – зевая, ответила Аксинья.

– Ну, пусть идет в кабинет.

Лестница долго скрипела. Поднимался кто-то солидный, большого веса человек. Я в это время уже сидел за письмен-

ным столом, стараясь, чтобы двадцатичетырехлетняя моя живость не выскакивала по возможности из профессиональной оболочки эскулапа. Правая моя рука лежала на стетоскопе, как на револьвере.

В дверь втиснулась фигура в бараньей шубе, валенках. Шапка находилась в руках у фигуры.

– Чего же это вы, батюшка, так поздно? – солидно спросил я для очистки совести.

– Извините, гражданин доктор, – приятным, мягким голосом отозвалась фигура, – метель – чистое горе! Ну, задержались, что поделаешь, уж простите, пожалуйста!

«Вежливый человек», – с удовольствием подумал я. Фигура мне очень понравилась, и даже рыжая густая борода произвела хорошее впечатление. Видимо, борода эта пользовалась некоторым уходом. Владелец ее не только подстриг, но даже и смазывал каким-то веществом, в котором врачу, побывшему в деревне хотя бы короткий срок, нетрудно угадать постное масло.

– В чем дело? Снимите шубу. Откуда вы?

Шуба легла горой на стул.

– Лихорадка замучила, – ответил больной и скорбно глянул.

– Лихорадка? Ага! Вы из Дульцева?

– Так точно. Мельник.

– Ну, как же она вас мучает? Расскажите!

– Каждый день, как двенадцать часов, голова начинает бо-



леть, потом жар как пойдет... Часа два потреплет и отпустит...

«Готов диагноз», – победно звякнуло у меня в голове.

– А в остальные часы ничего?

– Ноги слабые...

– Ага... Расстегнитесь! Гм... так.

К концу осмотра больной меня очаровал. После бестолковых старушек, испуганных подростков, с ужасом шарахающихся от металлического шпателя, после этой утренней штуки с белладонной на мельнике отдыхал мой университетский глаз.

Речь мельника была толкова. Кроме того, он оказался грамотным, и даже всякий жест его был пропитан уважением к науке, которую я считаю своей любимой, – к медицине.

– Вот что, голубчик, – говорил я, постукивая по широчайшей теплой груди, – у вас малярия. Перемежающаяся лихорадка... У меня сейчас целая палата свободна. Очень советую лечиться ко мне. Мы вас как следует понаблюдаем. Начну вас лечить порошками, а если не поможет, мы вам впрыскивания сделаем. Добьемся успеха. А? Ложитесь?..

– Покорнейше вас благодарю! – очень вежливо ответил мельник. – Наслышаны об вас. Все довольны. Говорят, так помогаете... и на впрыскивания согласен, лишь бы поправиться.

«Нет, это поистине светлый луч во тьме!» – подумал я и сел писать за стол. Чувство у меня при этом было настоль-

ко приятное, будто не посторонний мельник, а родной брат приехал ко мне погостить в больницу.

На одном бланке я написал:

«Chinini mur. 0,5

D. T. дос. № 10

S. Мельнику Худову

По одному порошку в полночь».

И поставил лихую подпись.

А на другом бланке:

«Пелагея Ивановна! Примите во 2-ю палату мельника. У него malaria. Хинин по одному порошку, как полагается, часа за 4 до припадка, значит, в полночь.

Вот вам исключение! Интеллигентный мельник!»

Уже лежа в постели, я получил из рук хмурой и зевающей Аксины ответную записку:

«Дорогой доктор! Все исполнила. *Пел. Лбова*».

И заснул.

...И проснулся.

– Что ты? Что? Что, Аксины?! – забормотал я.

Аксинья стояла, стыдливо прикрываясь юбкой с белым горошком по темному полю. Стеариновая свеча трепетно освещает ее заспанное и встревоженное лицо.

– Марья сейчас прибежала, Пелагея Ивановна велела, чтоб вас сейчас же позвать.

– Что такое?

– Мельник, говорит, во второй палате помирает.

– Что-о?! Помирает? Как это так помирает?!

Босые мои ноги мгновенно ощутили прохладный пол, не попадая в туфли. Я ломал спички и долго тыкал и горелку, пока она не зажглась синеватым огоньком. На часах было ровно шесть.

«Что такое?.. Что такое? Да неужели же не малярия?! Что же с ним такое? Пульс прекрасный...»

Не позже чем через пять минут я, в надетых наизнанку носках, в незастегнутом пиджаке, взъерошенный, в валенках, проскочил через двор, еще совершенно темный, и вбежал во вторую палату.

На раскрытой постели, рядом со скомканной простыней, в одном больничном белье сидел мельник. Его освещала маленькая керосовая лампочка. Рыжая его борода была взъерошена, а глаза мне показались черными и огромными. Он покачивался, как пьяный. С ужасом осматривался, тяжело дышал...

Сиделка Марья, открыв рот, смотрела на его темно-багровое лицо.

Пелагея Ивановна, в криво надетом халате, простоволосая, метнулась навстречу мне.

– Доктор! – воскликнула она хрипловатым голосом. – Клянусь вам, я не виновата. Кто же мог ожидать? Вы же сами черкнули – интеллигентный...

– В чем дело?!

Пелагея Ивановна всплеснула руками и молвила:

– Вообразите, доктор! Он все десять порошков хинину съел сразу! В полночь.

Был мутноватый зимний рассвет. Демьян Лукич убирал желудочный зонд. Пахло камфарным маслом. Таз на полу был полон буровой жидкостью. Мельник лежал истощенный, побледневший, до подбородка укрытый белой простыней. Рыжая борода торчала дыбом. Я, наклонившись, пощупал пульс и убедился, что мельник выскочил благополучно.

– Ну, как? – спросил я.

– Тьма египетская в глазах... О... ох... – слабым басом отозвался мельник.

– У меня тоже! – раздраженно ответил я.

– Ась? – отозвался мельник (слышал он еще плохо).

– Объясни мне только одно, дядя: зачем ты это сделал?! – в ухо погромче крикнул я.

И мрачный и неприязненный бас отозвался:

– Да, думаю, что валандаться с вами по одному порошочку? Сразу принял – и делу конец.

– Это чудовищно! – воскликнул я.

– Анекдот-с! – как бы в язвительном забытии отозвался фельдшер...

«Ну, нет... я буду бороться. Я буду... Я...» И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленою тьма

египетская... и в ней будто бы я... не то с мечом, не то со стетоскопом. Иду... борюсь... В глуши. Но не один. А идет моя рать: Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Ивановна. Все в белых халатах, и все вперед, вперед...

Сон – хорошая штука!..

# Пропавший глаз

Итак, прошел год. Ровно год, как я подъехал к этому самому дому. И так же, как сейчас, за окнами висела пелена дождя, и так же тоскливо никли желтые последние листья на березах. Ничто не изменилось, казалось бы, вокруг. Но я сам сильно изменился. Буду же в полном одиночестве праздновать вечер воспоминаний...

И по скрипящему полу я прошел в свою спальню и поглядел в зеркало. Да, разница велика. Год назад в зеркале, вынутом из чемодана, отразилось бритое лицо. Косой пробор украшал тогда двадцатитрехлетнюю голову. Ныне пробор исчез. Волосы были закинута назад без особых претензий. Пробором никого не прельстишь в тридцати верстах от железного пути. То же и относительно бритья. Над верхней губой прочно утвердилась полоска, похожая на жесткую пожелтевшую зубную щеточку, щеки стали как терка, так что приятно, если зачешется предплечье во время работы, почесать его щекой. Всегда так бывает, ежели бриться не три раза в неделю, а только один раз.

Вот читал я как-то где-то... где – забыл... об одном англичанине, попавшем на необитаемый остров. Интересный был англичанин. Досиделся он на острове даже до галлюцинаций. И когда подошел корабль к острову и лодка выбросила людей-спасителей, он – отшельник – встретил их револь-

верной стрельбой, приняв за мираж, обман пустого водяного поля. Но он был выбрит. Брился каждый день на необитаемом острове. Помнится, громаднейшее уважение вызвал во мне этот гордый сын Британии. И когда я ехал сюда, в чемодане у меня лежала и безопасная «Жиллет», а к ней дюжина клинков, и опасная, и кисточка. И твердо решил я, что буду бриться через день, потому что у меня здесь ничем не хуже необитаемого острова.

Но вот однажды, это было в светлом апреле, я разложил все эти английские прелести в косом золотистом луче и только что отделал до глянца правую щеку, как ворвался, топоча, как лошадь, Егорыч в рваных сапожищах и доложил, что роды происходят в кустах у Заповедника над речушкой. Помнится, я полотенцем вытер левую щеку и выметнулся вместе с Егорычем. И бежали мы втроем к речке, мутной и вздувшейся среди оголенных куп лозняка, – акушерка с торсионным пинцетом и свертком марли и банкой с йодом, я с дикими, выпученными глазами, а сзади – Егорыч. Он через каждые пять шагов присаживался на землю и с проклятиями рвал левый сапог: у него отскочила подметка. Ветер летел нам навстречу, сладостный и дикий ветер русской весны, у акушерки Пелагеи Ивановны выскочил гребешок из головы, узел волос растрепался и хлопал ее по плечу.

– Какого ты черта пропиваешь все деньги? – бормотал я на лету Егорычу. – Это свинство. Больничный сторож, а ходишь, как босьяк.

– Какие ж это деньги, – злобно огрызнулся Егорыч, – за двадцать целковых в месяц муку-мученскую принимать... Ах ты, проклятая! – Он бил ногой в землю, как яростный рысак. – Деньги... тут не то что сапоги, а пить-есть не на что...

– Пить-то тебе самое главное, – сипел я, задыхаясь, – от того и шляешься оборванцем...

У гнилого мостика послышался жалобный легкий крик, он пролетел над стремительным половодьем и угас. Мы подбежали и увидели растрепанную корчившуюся женщину. Платок с нее свалился, и волосы прилипли к потному лбу, она в мучении заводила глаза и ногтями рвала на себе тулуп. Яркая кровь заляпала первую жиденькую, бледную зеленую травку, проступившую на жирной, пропитанной водой земле.

– Не дошла, не дошла, – торопливо говорила Пелагея Ивановна и сама, простоволосая, похожая на ведьму, разматывала сверток.

И вот тут, слушая веселый рев воды, рвущейся через потемневшие бревенчатые устои моста, мы с Пелагеей Ивановной приняли младенца мужского пола. Живого приняли и мать спасли. Потом две сиделки и Егорыч, босой на левую ногу, освободившись наконец от ненавистой истлевшей подметки, перенесли родильницу в больницу на носилках.

Когда она, уже утихшая и бледная, лежала, укрытая простынями, когда младенец поместился в люльке рядом и все пришло в порядок, я спросил у нее:



– Ты что же это, мать, лучшего места не нашла рожать, как на мосту? Почему же на лошади не приехала?

Она ответила:

– Свекор лошади не дал. Пять верст, говорит, всего, дойдешь. Баба ты здоровая. Нечего лошадь зря гонять.

– Дурак твой свекор и свинья, – отозвался я.

– Ах, до чего темный народ, – жалостливо добавила Пелагея Ивановна, а потом чего-то хихикнула.

Я поймал ее взгляд, он упирался в мою левую щеку.

Я вышел и в родильной комнате заглянул в зеркало. Зеркало это показало то, что обычно показывало: перекошенную физиономию явно дегенеративного типа с подбитым как бы правым глазом. Но – и тут уже зеркало не было виновато – на правой щеке дегенерата можно было плясать, как на паркете, а на левой тянулась густая рыжеватая поросль. Разделом служил подбородок. Мне вспомнилась книга в желтом переплете с надписью «Сахалин». Там были фотографии разных мужчин.

«Убийство, взлом, окровавленный топор, – подумал я, – десять лет... Какая все-таки оригинальная жизнь у меня на необитаемом острове. Нужно идти добриться...»

Я, вдыхая апрельский дух, приносимый с черных полей, слушал вороний грохот с верхушек берез, шурился от первого солнца, шел через двор добриваться. Это было около трех часов дня. А добрился я в девять вечера. Никогда, сколько я заметил, такие неожиданности в Мурьеве, вроде родов

в кустах, не приходят в одиночку. Лишь только я взялся за скобку двери на своем крыльце, как лошадиная морда показала в воротах, телегу, облепленную грязью, сильно трянуло. Правила баба и тонким голосом кричала:

– Н-но, лешай!

И с крыльца я услышал, как в ворохе тряпья хныкал мальчишка.

Конечно, у него оказалась переломленная нога, и вот два часа мы с фельдшером возились, накладывая гипсовую повязку на мальчишку, который выл подряд два часа. Потом обедать нужно было, потом лень было бриться, хотелось что-нибудь почитать, а там приползли сумерки, затянуло дали, и я, скорбно морщась, добрился. Но так как зубчатый «Жиллет» пролежал позабытым в мыльной воде – на нем навеки осталась ржавенькая полосочка, как память о весенних родах у моста.

Да... бриться три раза в неделю было ни к чему. Порою нас заносило вовсе снегом, выла несусветная метель, мы по два дня сидели в Муравьевской больнице, не посылали даже в Вознесенск за девять верст за газетами, и долгими вечерами я мерил и мерил свой кабинет и жадно хотел газет, так жадно, как в детстве жаждал куперовского «Следопыта». Но все же английские замашки не потухли вовсе на муравьевском необитаемом острове, и время от времени я вынимал из черного футлярчика блестящую игрушку и вяло брился, выходил гладкий и чистый, как гордый островитянин. Жаль

лишь, что некому было полюбоваться на меня.

Позвольте... да... ведь был и еще случай, когда, помнится, вынул бритву, и только что Аксинья принесла в кабинет выщербленную кружку с кипятком, как в дверь грозно застучали и вызвали меня. И мы с Пелагеей Ивановной уехали в страшную даль, закутанные в бараньи тулупы, пронеслись, как черный призрак, состоящий из коней, кучера и нас, сквозь взбесившийся белый океан. Вьюга свистела, как ведьма, выла, плевалась, хохотала, все к черту исчезло, и я испытывал знакомое похолодание где-то в области солнечного сплетения при мысли, что собьемся мы с пути в этой сатанинской вертящейся мгле и пропадем за ночь все: и Пелагея Ивановна, и кучер, и лошади, и я. Еще, помню, возникла у меня дурацкая мысль о том, что, когда мы будем замерзать и вот нас наполовину занесет снегом, я и акушерке, и себе, и кучеру впрысну морфий... Зачем?... А так, чтобы не мучиться... «Замерзнешь ты, лекарь, и без морфия превосходнейшим образом, – помнится, отвечал мне сухой и здоровый голос, – ништо тебе...» У-гу-гу!.. Ха-sss!.. – свистала ведьма, и нас мотало, мотало в санях... Ну, напечатают там в столичной газете, на задней странице, что вот, мол, так и так, погибли при исполнении служебных обязанностей лекарь такой-то, а равно Пелагея Ивановна с кучером и парой коней. Мир их праху в снежном море. Тьфу... что в голову лезет, когда тебя так называемый долг службы несет и несет...

Мы и не погибли, не заблудились, а приехали в село Гри-

щево, где я стал производить второй поворот за ножку в моей жизни. Родильница была жена деревенского учителя, и пока мы по локоть в крови и по глаза в поту при свете лампы бились с Пелагеей Ивановной над поворотом, слышно было, как за дощатой дверью стонал и мотался по черной половине избы муж. Под стоны родильницы и под его неумолчные всхлипывания я ручку младенцу, по секрету скажу, сломал. Младенчика получили мы мертвого. Ах, как у меня тек пот по спине! Мгновенно мне пришло в голову, что явится кто-то грозный, черный и огромный, ворвется в избу, скажет каменным голосом: «Ага. Взять у него диплом!»

Я, угасая, глядел на желтое мертвое тельце и на восковую мать, лежавшую недвижно, в забытии от хлороформа. В форточку била струя метели, мы открыли ее на минуту, чтобы разредить удушающий запах хлороформа, и струя эта превращалась в клуб пара. Потом я захлопнул форточку и снова вперил взор в мотающуюся беспомощно ручку в руках акушерки. Ах, не могу я выразить того отчаяния, в котором я возвращался домой один, потому что Пелагею Ивановну я оставил ухаживать за матерью. Меня швыряло в санях в поредевшей метели, мрачные леса смотрели укоризненно, безнадежно, отчаянно. Я чувствовал себя побежденным, разбитым, задавленным жестокой судьбой. Она меня бросила в эту глушь и заставила бороться одного, без всякой поддержки и указаний. Какие невероятные трудности мне приходится переживать! Ко мне могут привезти какой угодно каверзный

или сложный случай, чаще всего хирургический, и я должен стать к нему лицом, своим небритым лицом, и победить его. А если не победишь, вот и мучайся, как сейчас, когда валяет тебя по ухабам, а сзади остался трупик младенца и мамаша. Завтра, лишь утихнет метель, Пелагея Ивановна приведет ее ко мне в больницу, и очень большой вопрос – удастся ли мне отстоять ее? Да и как мне *отстоять* ее? Как понимать это величественное слово? В сущности, действую я наобум, ничего не знаю. Ну, до сих пор везло, сходили с рук благополучно изумительные вещи, а сегодня не свезло. Ах, в сердце щемит от одиночества, от холода, оттого, что никого нет кругом. А может, я еще и преступление совершил – ручку-то. Поехать куда-нибудь, повалиться кому-нибудь в ноги, сказать, что вот, мол, так и так, я, лекарь такой-то, ручку младенцу переломил. Берите у меня диплом, недостойн я его, дорогие коллеги, посылайте меня на Сахалин. Фу, нев-растения!

Я завалился на дно саней, съежился, чтобы холод не жрал меня так страшно, и самому себе казался жалкой собачонкой, псом, бездомным и неумелым.

Долго, долго ехали мы, пока не сверкнул маленький, но такой радостный, вечно родной фонарь у ворот больницы. Он мигал, таял, вспыхивал и опять пропадал и манил к себе. И при взгляде на него несколько полегчало в одинокой душе, и когда фонарь уже прочно утвердился перед моими глазами, когда он рос и приближался, когда стены больницы

превратились из черных в беловатые, я, въезжая в ворота, уже говорил самому себе так:

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.